ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

5

2012

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Мемуарная проза сына одесского адвоката, первыми воспоминаниями которого (повествователя) была предвоенная Одесса и своеобразная, утраченная уже культура тогдашней интеллигентской жизни; затем — война, во время которой мальчик узнает, что значит быть евреем; попытки семьи выжить во время оккупации — мальчик уговаривает мать, что нас не убьют, но мать — убивают (отец как и многие из их окружения были репрессированы уже после войны). Завершается повествование 1945 годом, когда повествователю исполнилось восемь лет. Иными словами — повесть о детстве, и именно повесть — с проживанием в тексте и осмыслением изображаемого, — а не свидетельство очевидца.

- Михаил Бродский. Мама, нас не убьют… Воспоминания

Михаил Бродский. Мама, нас не убьют… Воспоминания

Мое появление на свет было скандальным и для многих неожиданным. Новость о том, что молодой юрист Ольга Яковлевна Барановская родила сына от знаменитого одесского адвоката Якова Борисовича Бродского, быстро облетела город. Одесская интеллигенция, так называемая «вся Одесса», была фраппирована. Адвокат Бродский был уже немолодым человеком сорока шести лет, имел жену и десятилетнего сына; теперь он довольно открыто стал жить на две семьи.

Отца знал весь город, он имел репутацию светского льва, женщин любил и имел у них успех. Помню его хорошо сложенным крепким мужчиной среднего роста, темноглазым брюнетом с крупными чертами лица, четким рисунком бровей, устремленных от переносицы к вискам, с неизменной трубкой черного дерева во рту и с черной же лакированной тростью элегантной простоты, висящей на сгибе левой руки или описывающей сложную, но неизменно элегантную траекторию при ходьбе. Обращали на себя внимание прямой офицерский пробор и галстук бабочкой, который в эти якобинские времена осмеливались носить лишь немногие интеллигенты, и строгий костюм, к которому очень подошла бы орденская ленточка в петлице. И крест у него был, солдатский Георгий, полученный за мужество и храбрость в боях с австрийцами в августе 1914 года, когда он, раненный в ногу, вывел свой взвод без потерь из-под огня, но, разумеется, носить этот крест в те годы было невозможно.

Такой запомнилась внешность отца в довоенные годы, хотя, вероятно, в этих впечатлениях есть отблеск более поздних воспоминаний. Блестяще образованный, учившийся в Петербургском и Новороссийском, то есть в Одесском, университетах, свободно владевший французским языком, он, как и его отец, мой дед, умерший задолго до моего рождения, стал присяжным поверенным, имел практику еще до Первой мировой войны, а широкую, может быть — даже европейскую, известность получил в середине двадцатых годов, выиграв уголовный процесс, который советская власть вела против одесских иерархов православной церкви. Отец защищал не только деятелей церкви, он защищал право, совершенно не предполагая, что спустя почти два десятка лет, во время румынской оккупации Одессы, его судебные речи в защиту духовенства спасут ему жизнь.

Я думаю, требовалось немалое мужество, чтобы взять на себя защиту подсудимых, которые уже своим социальным положением противостояли власти, а выиграть у этой власти процесс — это был вызов, перчатка, брошенная беззаконию, но в тот период этот вызов был лишь взят на заметку компетентными органами и временно оставлен без последствий.

Речи отца, как и весь его архив, исчезли после войны в недрах НКВД. Сохранилась лишь одна из них, где отец выступил в не свойственной ему роли общественного обвинителя убийцы — фельдшера, застрелившего известного одесского врача, доктора Гегелашвили. Эта речь, заставляющая вспомнить речи знаменитых дореволюционных судебных деятелей, интересна оценкой социальной роли интеллигенции, не совпадающей с отношением к ней партийных вождей, а также глубоким психологическим анализом личности убийцы, исполненного классовой ненависти и в то же время одержимого своеобразным комплексом классовой неполноценности.

Из рассказов старых одесситов и воспоминаний самого отца, которые я с интересом слушал в последние годы его жизни, можно было представить скептическое отношение отца к пролетарской юстиции. Язвительность его выступлений периодически имела следствием исключение из коллегии адвокатов. Помню рассказанный мне эпизод типичного процесса о вредительстве на одном из сельскохозяйственных предприятий. Эксперты, которым было поручено разобраться с его финансовым состоянием, обнаружили среди произведенной продукции молодое вино и, проверяя его качество, переусердствовали до такой степени, что не смогли явиться на заседание суда.

— Вот что значит не щадить живота своего правосудия ради, — заявил отец под сдержанные смешки аудитории и был немедленно обвинен в неуважении к суду.

Положение, занимаемое отцом в одесской адвокатуре, было значительным, поэтому рано или поздно период бездействия заканчивался и коллегия восстанавливала его в своих рядах до следующего конфликта. В один из таких периодов, лишенный права заниматься адвокатской практикой, отец служил юрисконсультом в итальянском консульстве, находившемся в те годы в Одессе.

— Однажды консул, — вспоминал отец, — обратился ко мне: «Господин Бродский, у нас в Италии люди с вашим образованием и вашего склада обычно делают дипломатическую карьеру». Конечно, я не мог объяснить ему, что наши дипломатические кадры формируются по совершенно иному принципу.

Понятно, что облик отца, его врожденный аристократизм,

эрудиция, ораторское искусство, иронический склад ума привлекали к нему внимание окружающих. Неудивительно, что мать, хотя уже и не юная девушка, а взрослая, замужняя женщина, увлеклась этим человеком и полюбила его.

История их любви мне неизвестна. Мать разошлась со своим мужем, врачом Анатолием Барановским, но вторая семья не сложилась. Отец не оставил жену и сына, свой хорошо налаженный быт, предпочтя роль приходящего к нам с мамой мужа и отца. Для маминых родителей, людей традиционных взглядов, это было потрясение, тяжелый удар. Смягчало удар лишь то, что отец дал мне свою фамилию, придав тем самым событию моего рождения вполне законный вид.

Как бы там ни было, я появился на свет в положенный срок и начал жить. Три макушки, которыми отметила меня природа, внушали моим близким известный оптимизм. Пожалуй, для оптимизма это было единственным надежным основанием. Ведь я родился в феврале 1934 года, в черные времена. Только что закончился XVII съезд ВКП(б), в истории партии официально названный съездом победителей. Диктатура Сталина утвердилась, и преданность вождю не спасла победителей от участи побежденных оппозиционеров: наступили годы террора и большинство делегатов съезда, как и миллионы других людей, были объявлены врагами народа и вычеркнуты из жизни и из истории.

Много лет спустя, в эпоху политической оттепели, когда в библиотеках после многолетнего моратория стало возможным получить подшивки старых газет, мне захотелось окунуться в атмосферу начальных дней моей жизни. Тогда-то, если не ошибаюсь, в февральском номере «Правды» я и увидел впервые фотографию вождя, которая позднее стала общеизвестной. Сталин стоял на трибуне и, улыбаясь, целился в делегатов из ружья, только что подаренного ему тульскими оружейниками. Делегаты аплодировали. Трагическая метафора эпохи поразила меня. Не только делегаты съезда — вся страна в гипнотическом психозе трепетала под прицелом вождя, и, мне кажется, только большие оптимисты решались завести детей. В среде интеллигенции оптимистов было мало, среди друзей и ровесников моих родителей было много бездетных семей. Возможно, я был нежеланным ребенком, но мое раннее довоенное детство было безмятежным и счастливым.

Шли первые месяцы и годы, не оставившие в моей памяти следов. Первой вспышкой, разбудившей мое сознание и включившей эмоциональную память, был ужас. Хорошо помню смятение, охватившее меня, двухлетнего, играющего на полу

нашей маленькой комнаты, при виде множества неизвестных чудовищ, появившихся из принесенной с рынка соломенной корзины и медленно ползущих ко мне. Чудовища были маленькие, но страшные, зеленоватые, хвостатые, с угрожающими клешнями. Было от чего испугаться и залезть на стол. Мама вошла в комнату и рассмеялась.

— Глупый, это же раки, — сказала она.

Больше себя в этой длинной неуютной комнате я не помню. Это значит, что очень скоро мы переехали в большой, красивый, но запущенный дом на противоположном углу улицы Гоголя и Сабанеева моста. Говорили, что до революции это был доходный дом, принадлежавший графу Толстому. Ему же, неизвестному мне графу, принадлежал и классический особняк, стоявший чуть дальше по Сабанееву мосту. Ныне в особняке размещался одесский Дом ученых, посещаемый не только учеными, но и окрестными детьми, потому что там устраивались новогодние елки и различные утренники, то есть веселые представления для детей.

Думаю, что в неизменном упоминании имени бывшего владельца дома, характерного для одесситов и намертво впечатавшегося в мою детскую память, сквозила ностальгия по ушедшим временам, но присутствовал и некий скептицизм по отношению к дням нынешним, а может быть, и смутная, подсознательная надежда на то, что старые добрые времена еще вернутся.

Мы с мамой поселились в бельэтаже, в огромной комнате. Хорошо помню, как восхищались взрослые: сорок метров, целых сорок! Еще долгое время цифра «сорок» ощущалась мной как нечто гигантское, гиперболическое. Излишне говорить, что эта комната, как и предыдущая, была в большой коммунальной квартире. Комната была красивая, квадратная, угловая, хотя, строго говоря, вместо угла было плавное закругление с большим окном. Еще два окна выходили на улицу Гоголя и на Сабанеев мост.

Солнце двигалось ежедневным маршрутом вокруг дома, от Сабанеева моста к улице Гоголя, и оттого весь день нашу комнату пронизывали его косые лучи. В лучах беспорядочно плясали пылинки, превращая световой поток в нечто материальное. Солнце освещало большой круглый стол в середине комнаты, старое продавленное кожаное кресло у стены рядом со старинным умывальным шкафом, широкую низкую мамину тахту и мою металлическую кроватку, забранную сеткой.

В тени, в простенках между окнами, стояли застекленные книжные шкафы темного дерева; их называли американскими.

Стекла в деревянных рамах можно было поднять на петлях и вдвинуть внутрь шкафа в пространство между полкой и верхним обрезом книг. Рамы имели замки, и некоторые из них были заперты: на этих полках стояли книги, которые детям читать не рекомендовалось. Впрочем, и на незапертых полках книг было много. Четырех лет от роду я узнал буквы и научился читать. В то время я часто оставался дома один, когда мама уходила на работу. Было одиноко и страшно. Боялся я, что с мамой что-то случится и она больше никогда не придет. А я? Что же будет со мной? Часы, которые я проводил в одиночестве и в полной тишине, казались очень длинными. Игрушек у меня почти не было. Хорошо помню лишь пирамидку — вертикальный стержень, на который надевались разноцветные кольца с постепенно уменьшающимся диаметром, да кубики с буквами. Может быть, поэтому чтение рано стало потребностью и страстью. Книги стали моими первыми и лучшими друзьями, а вернее сказать — первой любовью. Они стояли в шкафах ровными рядами, тяжелые тома в красивых переплетах с золотыми обрезами, изданные «Товариществом Маркс», Сытиным, Брокгаузом. Я любил держать их в руках, испытывая почти чувственное наслаждение от прикосновения к плотным, чуть пожелтевшим страницам, от шелеста шероховатой папиросной бумаги, прикрывающей гравюры, выполненные мастерами старых дней. Еще и сейчас книга для меня не просто источник информации, но синтетическое произведение искусства, некий masterpiece. Жирные пятна, загнутые страницы и другие следы оскорбительного небрежения любимыми спутниками моей жизни приводят меня в ярость. Как хорошо, что прогнозируемый распад империи Гутенберга произойдет за пределами моего существования.

В раннем детстве книги открыли мне необъятность мира, разбудили фантазию. Там, в этом мире, существовали феи и волшебники, принцы и нищие, дети капитана Гранта плыли на поиски отца, печальный Мцыри сражался с барсом и совершал подвиги отважный Руслан, разыскивая Людмилу. Воображение уносило меня в бурные моря, в темные леса Тюрингии и Шварцвальда, в ущелья Кавказа. Читать лежа запрещалось, но сколько замечательных часов я провел в одиночестве на маминой тахте с томами Жюля Верна, Пушкина, Лермонтова, с чудесно изданными сказками Гауфа и братьев Гримм! Моими близкими друзьями были отважный Дик Сэнд, чудак Паганель, благородный лорд Гленарван, таинственный капитан Немо. Олешины «Три толстяка» открыли мне пафос революционной романтики и подарили необыкновенное слово «кордегардия», в котором

слышался звон шпор, лязг оружия, грохот тяжелых ботфортов. В то же время читалась и такая милая, насквозь старорежимная книжка, как «Маленький лорд Фаунтлерой». Помню, что этот маленький лорд мне очень нравился. Нравилось мне и то, что родители и их друзья называли меня этим именем.

Вероятно, это имя действительно подходило мне в детстве. Каким-то чудом уцелели несколько моих довоенных фотографий. С одной из них удивленно смотрит малыш примерно трех лет, в темной блузе с большим светлым бантом, большелобый, с белокурыми локонами и огромными, широко раскрытыми светлыми глазами. Вполне подходящая модель для портрета кисти Ван Дейка или Гейнсборо.

Дети известных людей почему-то интересуют публику. Как говорят, в те годы я также был популярной личностью в Одессе. Симпатичный малыш в образе благовоспитанного маленького лорда льстил отцу. Его старший сын, мой несчастный сводный брат, которому в детские годы пришлось делать трепанацию черепа, считался не очень удачным ребенком.

К сожалению, благовоспитанность под напором естественных чувств время от времени отступала. Хорошо помню домашний обед, главным блюдом которого была утка с яблоками. Я сидел за столом в своем высоком стульчике и чинно обгладывал ножку, которую позволялось есть руками, поскольку, как известно, так делала даже английская королева. Было ужасно вкусно. Настолько вкусно, что, когда мама вышла на кухню, я залез на стол и, обжигаясь, погрузил руку в фарфоровую миску, пытаясь ухватить кусочек побольше. На этом я и был застигнут мамой и позорно изгнан из-за стола.

Хорошему тону я постепенно и незаметно учился у своих родителей, перенимая их отменные манеры и стараясь подражать им. Нравоучений не было, иногда короткой реплики было достаточно, чтобы помнить всю жизнь. Однажды, когда я сидел, положив ногу на ногу и обхватив коленку обеими руками, мама сказала: «Убери руки. Так сидеть некрасиво».

Поза была удобной, и расставаться с ней было жаль. С тех пор прошло больше шестидесяти лет, в нынешнюю эпоху хорошие манеры стали анахронизмом, однако какой-то внутренний тормоз, может быть — память о матери, не позволяет забыть о полученных в детстве уроках.

Годам к пяти я был неплохо воспитанным мальчиком. Во всяком случае, в этом возрасте я уже вел себя за столом достаточно пристойно, чтобы не оконфузиться в ресторане. По случаю выигранного процесса и, очевидно, полученного гонорара мама отправилась со мной обедать в ресторан знаменитой

гостиницы «Красная». Мне был повязан новый бант на шею, и мы отправились пешком через залитый солнцем Сабанеев мост, перекинутый над спускающейся в порт дорогой, прошли мимо музыкальной школы знаменитого Столярского, где учились одесские вундеркинды, будущие лауреаты всевозможных конкурсов и премий, мимо дома, где жил отец, о чем я узнал значительно позже, вышли на площадь к Дюку, то есть к памятнику основателю Одессы герцогу Ришелье, вокруг которого простиралась площадь имени Карла Маркса, и зашли по дороге в парикмахерскую, чтобы привести меня в достойный вид.

Парикмахерская встретила нас потемневшими от времени зеркалами, доисторическими пыльными пальмами в кадках и густым запахом одеколона. Меня усадили в кресло, или, вернее, на устроенную в кресле скамеечку, ибо я был слишком мал, а телескопических кресел в те времена в Одессе не существовало, и мама сняла с меня туфельки, чтобы я не пачкал кресло ногами.

— Вот здесь и здесь, — сказала мама, нежно прикасаясь к моему затылку теплой ладонью, — здесь лишнее, но коротко не стригите, пожалуйста.

— Бороду пока не бреем? — спросил парикмахер, щеголяя изысканным одесским остроумием.

— Пока нет, — улыбнулась мама, — но мне потом побреете шею. В качестве бесплатного приложения.

Я молчал, потрясенный величием этого громадного человека в белом халате, похожего на зубного врача, который недавно пребольно ковырялся в моих зубах.

Стрекотала машинка, ножницы лязгали, голова моя послушно поворачивалась в жестких парикмахерских руках, белокурые локоны медленно падали на накидку, а потом мне было велено зажмурить глаза, и на меня обрушились колючие струи одеколона.

Немного ошалевший от этой процедуры, я смотрел, как парикмахер подбривал маме шею. Мама носила короткую стрижку, это молодило ее и шло к ее стройной фигуре женщины, игравшей в лаун-теннис. Потом мы шли по улице Карла Маркса, бывшей Екатерининской, поток людей, знакомых и незнакомых, обтекал нас, мы прошли через сад Пале-Рояль и наконец подошли к гостинице.

Удивительно и странно, как память долгие десятки лет удерживает незначащие реплики, мелкие события детства, которые когда-то неизвестно почему поразили детское восприятие и теперь дороги лишь тем, что помогают воображению перенестись в те далекие, блаженные времена. Я помню твердый, неудобный для меня ресторанный стул,

ослепительно-белую накрахмаленную скатерть и такую же салфетку, которую мама засунула мне за ворот, помню вкус горячей сочной котлеты, картофельного пюре и горчицы, которую я увлеченно добывал из фарфорового судка. Но я почти не помню живого лица моей матери, которую потерял, едва мне исполнилось восемь лет.

Сохранилось лишь несколько фотографий — непрофессиональных, любительских карточек тридцатых годов. На них изображена довольно еще молодая женщина с милым, немного грустным лицом. Люди, знавшие маму, говорили, что фотография плохо отражала оригинал, как это часто бывает, когда красивое, живое лицо нефотогенично. В эти годы мама уже приобрела имя в адвокатуре, ее начинали приглашать для участия в процессах в другие города, а я во время ее отлучек поступал на попечение дедушки и бабушки.

Дедушка Яков до революции служил в банке, бабушка Дина, естественно, была домохозяйкой. Революция не внесла в их жизнь никаких перемен, если не считать того, что банк стал государственным, жалованье, обеспечивавшее безбедную жизнь, превратилось в скудную советскую зарплату, а дом или, вернее, просторная квартира на бывшей Ришельевской улице превратилась в жилплощадь размером в две небольшие комнаты, составляющие лишь небольшую часть той же квартиры, где в результате уплотнения нетрудового элемента поселилось еще много разных людей.

Не знаю, каким был дедушка служащим, но домохозяйкой бабушка была идеальной. Паркетные полы были натерты воском до невозможного блеска, куриные бульоны с клецками и лимоном, курица под белым соусом, тефтели в томате — все это было очень аппетитно и вкусно. Но сказать правду, это было единственное, что запомнилось. Возможно, не было тепла. И вероятно, большого внимания тоже. Во всяком случае, именно в этом доме я разбил себе лоб о косяк шкафа, раскатившись на паркете, как на ледовой дорожке. Кровь залила лицо, я ревел от боли и испуга, возникла жуткая суматоха, испугались, не задет ли глаз, но все обошлось, и лишь шрам над переносицей остался пожизненной памятью о происшествии. Шрам, да еще застрявшие в памяти слова бабушки: «Что я скажу Лиле!»

Лилей в семье звали маму, и отношения у нее с родителями были сложные еще с детских лет. Мама была старшей дочерью, а ее сестра Элеонора, Нелли, была моложе на восемь лет. Вероятно, как это часто бывает, младшей дочери доставалось больше родительской любви и ласки. Кроме того, говорят, бабушка молодилась и предпочитала появляться на людях с младшей

дочерью. Видимо, некий душевный дискомфорт и заставил маму рано уйти из дома и попытаться создать свою семью.

Мамина сестра Нелли еще долго жила с родителями, а потом неожиданно вышла замуж за агронома с соответствующей профессии фамилией Яровой и уехала с мужем почему-то в Ленинград. Я смутно помню ее мужа, дядю Федю, немолодого, крупного мужчину с совершенно голым черепом. Однажды летом дядя Федя и тетя Нелли приехали в Одессу и привезли с собой мою двоюродную сестру Оксану, пухленькую девочку младше меня на два года.

Помнится, этим летом было мне четыре года, и я впервые почувствовал стыд. Мы жили на даче, на восьмой станции, и как-то раз, по дороге на пляж, я устроил скандал, отказавшись купаться и загорать без трусиков. Уговоры не помогали, я упал на дорогу в пыль и вопил, что дальше не пойду. Солнце жгло немилосердно. Я сквозь слезы смотрел снизу вверх на свечи пирамидальных тополей, на огромных безжалостных людей, окружавших меня, и на маленькую сестричку, флегматично обсасывающую свой палец.

— Дай паршивцу шлепка, — ласково посоветовала тетя Нелли.

— Делать нечего, — вздохнула мама, — придется вернуться и взять запасные трусики.

Мы с мамой пошли обратно на дачу. Я все еще всхлипывал.

— Если ты уже действительно большой, то плакать стыдно, — сказала мама.

— Стыдно ходить голым, — заикаясь от слез, ответил я.

Это лето запомнилось и нелепым эпизодом. Однажды вечером на террассе сидели гости, а я скучал в одиночестве и ел алычу. На меня никто не обращал внимание. Это было обидно и непривычно. С горя я начал есть алычу с косточками, хотя и помнил наставления матери о том, что их надо выплевывать, иначе косточки застрянут в животе и может случиться заворот кишок. Что это такое, я, конечно, толком не знал, но, видимо, что-то ужасное. Проглотив несколько косточек, я побежал к маме и доложил, что у меня скоро будет заворот кишок. Началась паника. Я снова стал центром мироздания. Призвали доктора — пожилую даму, жившую по соседству. Был ощупан живот, где странствовали таинственные косточки, никак не выдавая своего присутствия. Консилиум из заскучавших гостей под руководством доктора решил немедленно кормить меня некой обволакивающей субстанцией, а именно картофельным пюре и в больших количествах. Мама приступила к делу, гости постепенно разошлись, и мы остались вдвоем. Остаток вечера я, давясь,

поглощал пюре, ночью, просыпаясь, прислушивался к своему животу, а наутро косточки оказались в горшке.

Все кончилось благополучно, и я так и не стал мальчиком, у которого случился заворот кишок. Впрочем, я не слишком огорчился. Болеть я не любил.

Но болеть все же иногда приходилось. Как все дети, я переболел ветрянкой и скарлатиной. Помню себя в постели с затуманенным от жара сознанием и отца, сидящего рядом и читающего вслух сказку о попе и работнике его Балде. Читал отец хорошо, и было приятно слушать его голос, доносящийся как бы издалека, и чувствовать на своей ладошке его большую прохладную руку.

Через неделю, выздоравливая после скарлатины и слоняясь на коммунальной кухне, я услышал, как соседка, глядя в окно, сказала маме:

— Вот идет Яков Борисович с женой.

Мама промолчала. Промолчал и я. Потом, уже в комнате, я спросил у мамы:

— Разве у папы две жены?

— Да, — ответила мама, — у папы две жены.

Ответ был краток, и как-то сразу стало понятно, что продолжать распросы не следует. Но это была ошеломляющая новость. Примерно до пяти лет я воспринимал как должное, что папа живет отдельно. Теперь стало понятно, что в этом есть какая-то тайна.

Впрочем, тайна не мешала жить. В детские годы воспринимаешь жизнь такой, какая она есть, не слишком раздумывая над ее сложностями.

В конце 1939 года началась война с Финляндией. Помню какие-то обрывки разговоров о возможных бомбежках, о затемнении, но Одесса была слишком далека от театра военных действий, чтобы почувствовать, что такое война. Тем не менее воинственный дух овладел детьми. Зима запомнилась бесконечными играми в войну, где каждый из нас, малышей, был главным командиром — Ворошиловым, Чапаевым или Буденным, других героев мы не знали. Не менее ярким событием этой зимы было появление в нашем доме ящика мандаринов, привезенного из Грузии маминым подзащитным — капитаном дальнего плавания. Перипетии процесса мама обсуждала дома с отцом, и я любил слушать разговоры взрослых. Судно, которым командовал капитан, село на мель в Черном море, капитана отдали под суд, но мама сумела доказать его невиновность. Таким образом, мандарины не только украсили наш скромный стол, но и явились неким символом торжества справедливости.

Но все отступило на задний план, когда однажды, накануне дня моего рождения, мама вкатила в комнату настоящий, роскошный, блестящий хромом и никелем двухколесный велосипед.

— Это мне? — прошептал я, боясь поверить неслыханному счастью.

— Конечно, — сказала мама и громко позвонила в звонок, укрепленный на руле, — это тебе подарок. Ведь тебе исполняется шесть лет. Скоро станешь взрослым.

Я попытался сесть на велосипед и тут же упал, больно стукнувшись коленкой. Мама необидно засмеялась.

— Надо немножко поучиться. До весны уже недалеко.

До весны ждать было невозможно. Я учился ездить в комнате, вокруг стола. К весне я уже был заправским велосипедистом и лихо мчался по тротуарам, оглушительными звонками распугивая прохожих. Коронным номером было разогнаться, положить ноги на руль и стремглав лететь к Сабанееву мосту в сторону лестницы, спускающейся к дороге в порт. Перед самой лестницей, как можно ближе к ней, надо было круто свернуть влево и выехать на мост. Опасный аттракцион. Опасный потому, что лестница была крутая и длинная, и на секунду опоздать с поворотом означало переломать себе кости. Однажды это увидела мама и пригрозила отнять велосипед.

Велосипед был зримым признаком относительного благосостояния, с некоторых пор пришедшего в наш дом. К лету в семье появилась домработница Дуня, толстощекая румяная деваха, с которой мы выехали на дачу. Дача располагалась на одной из станций Большого Фонтана, среди безбрежных виноградников, где мы, дети, играли в прятки. Незабываемые, счастливые дни. В знойный полдень, когда редкие облака, словно манная каша, размазаны по голубой клеенке неба, лежишь, запрокинув голову, под виноградной лозой, и крупные, уже наливающиеся сладостью ягоды, тяжелые плотные кисти, почти касаются твоего лица, дразнят разгорающийся аппетит. Где-то неподалеку раздаются голоса. Тебя ищут. А ты перебираешься от куста к кусту, срывая по дороге еще неспелые, немного терпкие ягоды.

В то лето на даче бывало много гостей. Иногда, не слишком часто, приезжал отец, щегольски одетый, несмотря на жару всегда в пиджаке и галстуке.

— Тебе не жарко? — удивлялся я.

— Привычка — вторая натура, — отвечал он, улыбаясь. — Помню, лет сорок назад, когда я еще был мальчиком чуть постарше тебя, к моему отцу, твоему деду, летом приехал по делу

какой-то англичанин. Однажды отец повез его кататься на лодке и взял меня с собой. В лодке англичанин снял пиджак и остался в подтяжках. Я был шокирован: это было неприлично. Все равно что остаться на людях в нижнем белье.

— А что это такое — неприлично? — спрашивал я.

— Это нарушение некоторых условностей, принятых в обществе. Сейчас, видишь ли, все упростилось. Раньше, например, приличный человек никогда бы не вышел на улицу без шляпы. Допускалось, правда, в сильную жару снять шляпу или канотье и нести в руке.

— Не очень-то это приятно быть приличным человеком, — заявлял я и отправлялся играть в казаки-разбойники.

В эти летние дни было много разговоров о близости войны. Где-то неподалеку стояла кавалерийская часть, и время от времени к нам на дачу доносился глухой топот копыт. Иногда днем, когда мама была в городе, к Дуне приходил кавалер — великолепный молодой военный в гимнастерке с красными кубиками в петлицах. Он легко взбегал на крыльцо, звякая шпорами и придерживая шашку, бившуюся о черные голенища сапог. Шашка отстегивалась и вручалась мне. Я осторожно вытягивал ее из ножен, разглядывал грозную сталь клинка и пытался взмахнуть им над головой. Эфес был слишком велик для моей детской руки, и шашка тяжела. Военный пил чай на террасе, я сидел у него на коленях, восхищаясь запахом новенькой кожаной портупеи и осторожно трогая тяжелую кожаную кобуру, в которой был настоящий наган.

Военная тема прочно вошла в наши детские игры. Это было неудивительно: все вокруг дышало войной. Быстро примелькались новые слова: Халхин-Гол, самураи, линия Маннергейма. Детские книжки, газеты, журналы, радио взахлеб рассказывали о подвигах красноармейцев, о боях в Испании и Китае. Мы полюбили играть в войну. Это было очень весело. Нам нравилось непонятное японское слово «банзай». Весело было с воплем «банзай» наступать на противника, размахивая шашкой, вырезанной из тополиной ветки. Весело было и затаиться в кустах, в засаде, удерживая смех, когда противник — мальчишки с соседних дач — пробегал мимо. Веселая штука — детство.

В Ноябрьские праздники в Одессе был военный парад. Недалеко от нашего дома, на улице, среди толпы стояли танки. Люки были открыты, танкисты в шлемах, высунувшись по пояс, перебрасывались шуточками с женщинами. Мама поставила меня на броню.

— Хочешь быть танкистом? — спросил меня темнолицый богатырь в черном комбинезоне. — Полезай в танк.

Он легко подхватил меня под мышки и опустил в башенный люк. В танке было сумрачно, пахло разогретой кожей и еще чем-то непонятным, может быть — порохом. Я замер от восторга. Усатый танкист обнял меня за плечи.

— Тебя как звать, хлопец? Миша? Бачишь, Мишка, це пушка.

Я осторожно положил руку на холодный металл.

— Это называется затвор, — сказал усатый, — сюда снаряд заряжают.

— Я когда вырасту, стану танкистом, — обещал я.

— Ну расти скорей, — захохотал усатый, — а сейчас прыгай до мамки.

Сильные руки вытянули меня из танка. В толпе играла гармонь, и чьи-то резкие голоса пели популярную песню:

Три танкиста, три веселых друга —
Экипаж машины боевой.

Незаметно подошел 1941 год. Мне исполнилось семь лет, и осенью меня собирались отдать в школу. Зимой я получил роскошную обновку: где-то по знакомству была куплена шубка, крытая черной жеребячьей шкурой. Мама сшила себе красивое демисезонное пальто, коричневое, с воротником, широкие углы которого были оторочены коричневым каракулем, по форме напоминающим петлицы на военных шинелях. Пришло лето, наступила жара, и мы, как всегда, выехали на дачу. Пошла веселая безмятежная дачная жизнь.

Однажды поздним воскресным утром мы сидели на террасе за завтраком; я доедал яичницу, запивая какао, и слушал, как наверху, где-то на растущей рядом шелковице, оживленно переговаривались птицы. В этот момент распахнулась калитка, и на дачу ворвалась пожилая соседка.

— Вы что, ничего не знаете? — задыхаясь, прокричала она, подбегая к террасе. — Война!

Я обрадовался: кончились игры, пришло время подвигов!

— Быстро доедай, — сказала мама. — Надо бежать в магазин.

У магазина уже стояла гигантская очередь. Очередь подвигалась быстро: полки были почти пустыми, как и в предыдущие дни. Лишь громадные пирамиды консервов из дальневосточных крабов, которые в те времена почему-то не считались деликатесом, украшали витрины. Но теперь расхватывали все.

На даче стало жить трудно. Мы вернулись в город. Стал налаживаться военный быт. Вышел приказ о сдаче радиоприемников, и граждане заспешили в пункты приема.

Пришлось и нам расстаться с приемником — грубоватой деревянной коробкой с динамиком, затянутым матерчатой сеткой. Если не ошибаюсь, эта модель называлась «СИ»: вероятно, это были инициалы вождя. Теперь мы были избавлены от вражеской пропаганды, все новости поступали из черной зловещей тарелки громкоговорителя, да и новости были чернее тучи.

По вечерам город погружался в черный беспросветный мрак. Дворники бдительно следили за тем, чтобы ни полоски света не пробивалось из окон. Затемнение должно было сбить с толку вражеских летчиков. Повесили глухие темные шторы и мы с мамой. Окна были оклеены крест-накрест бумажными лентами, чтобы от взрывов не вылетали стекла. Город начали бомбить. Как водится, поползли разговоры о шпионах, которые фонариками указывают фашистам цели. Одна из первых бомб попала в большое здание ломбарда напротив нашего дома. Бомба пробила крышу, проникла в хранилище ковров и не взорвалась. Бомбили по ночам: сначала слышался самолетный гул, доносились разрывы зенитных снарядов, затем раздавался оглушительный нарастающий свист и взрыв. Черное небо полосовали прожекторные лучи. Иногда в них попадал крохотный, почти игрушечный самолетик. Вырваться из луча ему уже не удавалось.

В семь лет опасность ощущается слабо. Я привык к ночному фейерверку, быстро засыпал и спал мертвым сном. Однако опасность была немалая. Мы жили в районе, примыкающем к порту, который бомбили особенно интенсивно. Бомбоубежища в доме и поблизости не было. Поэтому мама решила вернуться на дачу.

Дачную местность не бомбили. Но праздничная безмятежность дачной жизни уже исчезла. Дачи стали пустынными: молодежь была призвана в армию, одесситы прервали отпуска, гости разъезжались по домам.

В саду была вырыта щель. Так называлась длинная и глубокая, в человеческий рост, траншея с вертикальными стенами, куда полагалось прятаться во время налетов. В торце щели в грунте были утрамбованы ступеньки. Однажды днем объявили воздушную тревогу, и все находившиеся поблизости дачники сгрудились в пахнущей сырой глиной щели. Слышался гул самолетных моторов, но бомбежки не было.

— Смотрите, смотрите, воздушный бой! — закричал мой сверстник и сосед, мальчик Витя.

Все запрокинули головы. Высоко в безоблачном небе кружили и играли в догонялки крохотные самолетики. Время от времени раздавался пулеметный треск. Смертельная игра казалась с земли

захватывающим аттракционом.

Я вылез из щели, чтобы лучше видеть и не пропустить момент, когда наши собьют фрица. Два самолета отвалили от группы и потянулись в сторону. Ударили зенитки. Вдруг что-то просвистело рядом с ухом и шмякнулось на землю. Я нагнулся и поднял осколок. Он был еще горячий. Мне кажется, я и сейчас отчетливо вижу этот сероватый, отливающий синевой зазубренный кусочек металла величиной с палец взрослого человека — вероятно, осколок зенитного снаряда. Недетская мысль о том, что я был на волосок от смерти, поразила меня. Я положил осколок в карман и молча сбежал по ступенькам в щель.

Вечером мама приехала из города. Мы поужинали, мама согрела воду на керосинке и велела мне вымыть ноги перед сном. Из кармана штанишек выпал осколок.

— Что это? — спросила мама.

— Железку нашел, — ответил я.

— Вечно ты какую-то гадость в карманах носишь, — проворчала мама.

Я всхлипнул и прижался к ней. Мама была теплая, и я был живой. Я еще не видел мертвых, но знал, что они никогда, никогда не возвращаются.

— Ты что? — удивилась мама, — обиделся?

— Нет, — сказал я и заплакал.

Ночью мне приснилось что-то страшное, я проснулся и долго не спал, слушая легкий шелест акации за открытым окном. Ночной бриз нес запах моря и шевелил занавески на окне. Комната то освещалась серебристым лунным светом, то снова погружалась в черноту ночи. В эту тихую летнюю ночь я впервые в своей короткой жизни думал о том, как легко убить человека.

Между тем надвигалась осень, фронт приближался, и мы снова переехали в город. На стенах домов появились плакаты: «Одесса была, есть и будет советской». Одесситы, умеющие правильно читать советские лозунги, поняли, что враг скоро войдет в город. В повседневный лексикон прочно вошло новое слово — «эвакуация». В середине августа Одесса была отрезана и осталась за линией фронта, покинуть осажденный город можно было только морем. Тем, кто успел уехать до того, как кольцо окружения замкнулось, повезло. Теперь попасть на уходящий транспорт считалось удачей. Маме достали билеты на теплоход «Ленин», но она колебалась: ехать в неизвестность с ребенком, одной было страшно. Отец со своей семьей и восьмидесятилетней матерью оставался, мамины родители тоже.

Почему большинство одесских евреев не покинуло город своевременно? У каждой семьи были свои мотивы. Кто-то,

доверяя пропаганде, считал, что Одессу врагу не сдадут. Скептики полагали, что преследования евреев немцами — очередной миф советской власти. Люди помнили немцев, оккупировавших Одессу в 1918 году. Они вели себя спокойно, мирное население не трогали, евреев не истребляли. Предполагалось, что в город придет та же армия, что и двадцать три года тому назад. И скептики, и доверчивые энтузиасты страшились эвакуации — опасного и тяжкого путешествия неведомо куда. Некоторые, несомненно, втайне надеялись, что советская власть не вернется в Одессу никогда и постепенно наладится нормальная жизнь, которую еще не успели забыть.

Так или иначе, все близкие оставались в городе, и мама решила не ехать. Билеты были сданы, и «Ленин», перегруженный эвакуированным людом, ушел без нас. Через два дня в Одессе стало известно, что немецкие самолеты бомбили теплоход «Ленин» в открытом море и он пошел ко дну. Погибли почти все, многие сотни людей, в том числе и друзья нашей семьи.

А шестнадцатого октября канонада на подступах к городу стихла, и в город вступили немцы. Мы с мамой молча стояли у окна и смотрели, как от Сабанеева моста к улице Гоголя по середине мостовой маршировала немецкая колонна. Солдаты были серо-зеленые, в касках, с еще не виданными нами автоматами. Улица была пустынна, лишь какие-то женщины, выскочившие из подворотни, бросили солдатам цветы. Колонна свернула в улицу Гоголя и скрылась из виду. Грохот сапог смолк, и стало невероятно тихо.

Так началась жизнь в оккупации и кончилось обыкновенное детство.

Очень скоро я узнал, что мы евреи. Было непонятно, что это означает, но ясно было одно: это тайна и, если не хочешь погибнуть, эту тайну надо хранить.

— Хорошо, что я не дала сделать тебе обрезание, — сказала мама. — Мне было жалко тебя мучить.

И мама объяснила мне, что это значит.

Однажды холодным осенним утром жизнь страшно перевернулась. В дом пришли два молодых русских полицейских и забрали меня и маму, позволив взять лишь чемоданчик с самыми необходимыми вещами. Полицейские привели нас в школу, ту самую, куда я собирался поступить этой осенью. Нас отвели в большую комнату, где стояли еще никогда не виданные мной парты, и заперли на ключ. Вот это и был мой первый школьный день и начало постижения того, что называется жизнью.

Время тянулось медленно, мы сидели с мамой за партой, мама обнимала меня за плечи и успокаивала рассказами о том, как будет хорошо, когда скоро кончится война, и я приду в этот класс и буду сидеть, может быть, даже за этой партой, и учительница вызовет меня к доске, и я буду писать мелом на доске, отвечая урок, как это делают все дети во всех школах во все времена.

За окном стемнело, хотелось есть, и мама дала мне взятый из дома бутерброд.

В коридоре послышались голоса, шаги, дверь отворилась, и полицейский, уже другой, немолодой, с лицом тяжелым, как боксерский кулак, кивнул нам:

— Выходите.

Нас отвели по темной лестнице куда-то вверх, и мы очутились в маленьком коридорчике перед дверью, обитой черной клеенкой. Тускло светила маленькая лампочка. По коридорчику ходил взад и вперед пожилой румынский солдат.

— Останься здесь, — сказал мне полицейский и вошел с мамой в черную дверь.

Я сел на стул у стены. Было страшно. Солдат смотрел на меня.

— Юде? — спросил солдат.

Я уже знал, что это такое, и неопределенно помотал головой. Солдат вздохнул и полез в карман. Из кармана появился кусок рафинада. Солдат протянул его мне. Есть не хотелось, но было неудобно, и я положил его в рот. Сахар наполнил мой рот сладостью, но горький страх не прошел.

Черная дверь отворилась, и полицейский, взяв меня за плечо, подтолкнул вперед. Я вошел в небольшую, ярко освещенную комнату, где за столом сидел молодой офицер в румынской форме. В углу у стены почему-то стояла высокая деревянная лестница. Мама сидела у стола.

— Подойди сюда, мальчик, — сказал офицер на чистом русском языке.

Я подошел к столу. На столе стояла лампа под зеленым, очень домашним абажуром, несколько листочков бумаги были придавлены черным пистолетом.

Офицер рассматривал на просвет мамин паспорт, определяя, имеется ли подчистка в графе «национальность».

— Оставьте меня с мальчиком, — сказал офицер полицейскому.

Полицейский вывел маму из комнаты.

— Послушай, — сказал офицер, — не надо скрывать, что ты еврей. Мне ведь все известно. Тебя же, наверное, учили говорить

правду.

— Я не еврей, — ответил я.

— Почему ты боишься сказать правду? — мягко спросил офицер. — Мы не делаем евреям зла. Просто на время войны все евреи должны переехать в другое место. Таков приказ. Смотри.

Офицер взял пистолет, вынул обойму и показал мне. Желтые патроны, плотно пригнанные друг к другу, золотились на свету.

— Если ты не скажешь правду, мне придется тебя застрелить. Видишь этот верхний патрон? Когда я выстрелю, он будет здесь.

Офицер постучал костяшками пальцев по моему лбу и со щелком вогнал обойму обратно в рукоятку пистолета.

— А куда же вы нас отвезете? — спросил я.

— Мы отвезем вас в хорошее место, где не будут бомбить. Там будет спокойно. До конца войны. Сейчас я позову твою мать.

Вошла мама и стала у двери, прислонившись к лестнице.

— Вот видишь, — сказал офицер и улыбнулся, обнажив золотые зубы, пригнанные друг к другу, как патроны в обойме, — мальчик мне все сказал.

— Неправда! — воскликнула мама. — Что ты сказал?

— Скажи ей, — кивнул мне офицер, — мы же договорились.

— Мамочка! — закричал я. — Нас не убьют, я сказал, что я еврей, и нас просто отвезут в другое место.

— Значит, ты не мой сын! — отчаянно закричала мама и стала белая как стена.

— Мамочка… — заплакал я.

Офицер улыбался.

— Отведи их, — бросил он полицейскому, стоявшему в дверях.

Нас отвели в другой класс, где было много народу: женщины и дети. Мама тяжело молчала.

Наступила ночь. Я задремал, положив голову маме на колени. Резкий толчок разбудил меня. Мама поднимала меня на руки. Люди ломились к выходу.

— Что случилось? — забормотал я.

— Кажется, пожар, — ответила мама, прижимая меня к себе и пробиваясь к дверям.

Толпа вывалилась на лестницу, заполненную едким дымом. Люди с детьми на руках, обезумев, давили друг друга. Слышались стоны.

— Мамочка, я не хочу умирать, — прошептал я.

Толпа монолитной массой, превратившись в гигантское бессмысленное чудовище, медленно сползала по лестнице вниз. Солдаты, стоявшие у подножья лестницы, едва сдерживали напор. Сверху я увидел вестибюль, где несколько солдат топтали

сапогами горящие и дымящиеся тряпки. Больше нигде огня не было. Паника погасла. Люди постепенно приходили в себя. Мы вернулись в класс, и я снова заснул.

Ранним утром всех вывели на улицу и построили в колонну. Колонна была длинная и растянулась на целый квартал. Моросил мелкий противный дождик. Мы молча шли, охраняемые солдатами, по середине мостовой под взглядами нечастых прохожих. Шли долго, через весь город, и подошли к железным воротам в красно-кирпичной стене. Это была городская тюрьма. Ворота с лязгом растворились, и колонна втянулась в тюремный двор.

Те, кто читал «Крошку Доррит» и помнит описание долговой тюрьмы Маршалси, могут попытаться представить себе множество людей, живущих каким-то странным бытом в стенах, за пределы которых выйти невозможно, но внутри их пользующихся относительной свободой. Я плохо помню те несколько дней, которые мы провели в тюрьме. Помню скученность, добывание кипятка, тяжелый ночной сон в коридоре на каком-то сундуке. Помню неожиданную встречу в тюремном дворе с Витей, товарищем, с которым мы играли на даче в войну.

Память об этих днях ушла куда-то в глубину, в подсознание.

Невозможность вспомнить и подробно рассказать об этих последних днях многих тысяч людей тем более печальна, что я, быть может, единственный или уж, по крайней мере, один из очень немногих уцелевших, избежавших ужасной участи, уготовленной евреям, согнанным в одесскую городскую тюрьму. Люди, среди которых я прожил эти несколько дней, были заживо сожжены в каких-то бараках под Одессой.

Чудо, как всегда, произошло неожиданно. В один действительно прекрасный день маму куда-то вызвали. До сих пор не понимаю, как в этом беспорядочном скопище людей можно было быстро отыскать человека. Тем не менее это случилось, и очень скоро мама вернулась. Ее глаза сияли, и она снова была молодой и красивой, как недавним летом.

— Собирайся, — шепнула она мне, — мы выходим на свободу.

Собираться было недолго. Стараясь не смотреть в глаза остающимся, мы вышли из здания и через несколько минут подошли к воротам. В проходной нас ждала женщина, пожилая, грузная, с седеющими встрепанными волосами. В руке она держала листок бумаги. Это было разрешение на выход из тюрьмы Ольге Яковлевне Барановской и ее сыну.

Так в мою жизнь вошла Мария Михайловна Кобозева.

Как и где получила она эту спасительную бумагу? Я этого не

знаю и уже никогда не узнаю. Так же, как никогда не узнаю, что связывало ее с мамой и почему она пришла нам на помощь. Понимаю только одно: этой удивительной женщине, ее доброте, ее безрассудной смелости и неподражаемому нахальству я обязан жизнью.

За воротами нас ждал извозчик. Мы погрузились в пролетку и поехали прочь. В пролетке пахло кожаной сбруей и лошадиным потом. Я сидел рядом с мамой на потрескавшемся, выбеленном от старости клеенчатом сиденье и разглядывал улыбающееся лицо Марии Михайловны, сидевшей напротив нас, спиной к извозчику. Лошадь бежала резво. Булыжная мостовая неслась навстречу. Пролетка мягко покачивалась на рессорах.

Следует сказать, что на извозчике я ехал впервые в жизни. Этот ископаемый вид городского транспорта возродился в Одессе только после начала оккупации. Но, конечно, не лошади задавали тон на улицах оккупированного города. Проносились сверкающие автомобили «хорьх» с важными немецкими офицерами внутри. Неторопливо двигались странные тупорылые итальянские грузовики с кабиной, нависающей над передними колесами. Улицы приобрели какой-то новый, почти заграничный вид. Уже мелькали вывески частных магазинов, в толпе выделялись военные в немецких, румынских, итальянских мундирах, появились респектабельные мужчины, сменившие пролетарские кепки на вынутые из нафталина дореволюционные котелки. На одном из перекрестков открылся вид на площадь, в центре ее стояло еще не виданное мною сооружение — виселица. Ветер покачивал на высокой перекладине три тела со склоненными набок головами. На груди у них висели таблички. Пролетка резко свернула и понеслась дальше.

Теперь Одесса управлялась румынской администрацией и была центром Транснистрии, то есть Заднестровья. Очевидно, после ожидаемой в ближайшее время победы над Советским Союзом эта территория должна была окончательно отойти к Румынии. Генерал-губернатором Транснистрии или, может быть, военным комендантом Одессы был назначен генерал Георгиу, с которым я однажды повстречался в приватной обстановке. Генерал был весьма импозантен и потрепал меня мягкой генеральской ладонью по стриженой неарийской голове.

Но это произошло значительно позже, а пока извозчик привез нас в клинику, где главным врачом был Иван Алексеевич Кобозев, муж Марии Михайловны. Большая семья Кобозевых приютила нас у себя, потому что возвращаться на улицу Гоголя было равносильно самоубийству.

Здесь самое время рассказать о семье, в которой я прожил

больше двух лет в страшное время оккупации.

Иван Алексеевич был известным в городе профессором-окулистом, коллегой знаменитого Филатова. Смутно вспоминаю, что еще до войны мы с мамой бывали у Кобозевых дома, и Иван Алексеевич лечил меня от блефарита, то есть смазывал какой-то желтой, кажется ртутной, мазью веки, на которых у меня время от времени образовывались белые корочки.

Это был высокий, всегда подтянутый красивый мужчина лет шестидесяти или немного старше, барственный, неторопливый в движениях, с крупными простыми чертами лица и густыми, совершенно белыми волосами, гладко зачесанными назад. Сколько я помню, он был немногословен и не склонен к сантиментам. Пожалуй, это был совершенный образец старого, дореволюционного профессора, уверенного в себе и внушающего доверие пациентам.

Как это часто бывает, Марья Михайловна была его полной противоположностью. Шумная, порывистая, по-одесски изобильная телом и какой-то космической энергией, она занималась домом и, как я думаю, разнообразными коммерческими гешефтами. Ее неустрашимость в общении с новыми хозяевами города, от солдата до генерала, доходила до какой-то сверхъестественной наглости. Оглядываясь назад, я почти уверен в том, что Марья Михайловна была еврейкой.

У четы Кобозевых было восемь детей: его дети от первого брака, ее дети от первого брака и общие дети. В то время с семьей жили две дочери: старшая — Татьяна, молодой врач-венеролог, с двухлетним сыном Толей, и младшая — Наташа, красивая белокурая восемнадцатилетняя девушка, постоянно конфликтующая с матерью и называющая ее мутершей. Кроме того, в семье жил внук Вова, мальчик моих лет. Известно было, что родители его жили где-то далеко на Урале. Впрочем, поскольку о них никогда ничего не говорилось, не исключено, что они были репрессированы.

Маленького Толю обихаживала жившая в семье няня, которую звали Мальвина. Это была рыхлая немолодая немка из колонистов — их было немало в Одессе и особенно под Одессой, например в Люстдорфе, который после войны был без особого полета фантазии переименован в Черноморку. Своей принадлежностью к истинным арийцам Мальвина как бы уравновешивала национальную неполноценность семейства Кобозевых. Дело в том, что Татьяна выглядела типичной еврейкой, что я хорошо понял, увидев ее двадцать лет спустя, а отец Толи, врач, погибший на фронте в первые недели войны, был несомненный еврей с отчетливой еврейской фамилией.

Это ужасное обстоятельство было замаскировано фиктивным браком Татьяны с сыном давних друзей Ивана Алексеевича, племянником знаменитого Уточкина, одного из первых русских авиаторов. Уточкин, которого звали, если не ошибаюсь, Николай, в доме Кобозевых не жил, но часто появлялся, демонстрируя принадлежность к семье.

Несмотря на то что еврейство отдельных членов семьи было формально прикрыто, дамоклов меч раскрытия преступной тайны постоянно висел над Кобозевыми, ибо «доброжелателей» всегда немало. В этих условиях взять в свой дом еврейскую семью было не просто смелостью — было безрассудным благородством.

Все мы, семеро членов семьи Кобозевых и я с мамой, ютились в подвале одного из корпусов клиники, куда временно переехали Кобозевы из своей огромной квартиры, которую в эту зиму, видимо, было невозможно обогреть.

Зима 1941–1942 годов была ранней и лютой. Жестокость жизни словно была подчеркнута жестокими морозами. В память врезался хмурый день, низко летящие над городом облака, жесткий колючий снег, ущелья улиц между огромными белыми сугробами, заметенные снегом трупы замерзших людей, изредка встречающиеся по дороге темные фигуры редких прохожих с закутанными от мороза лицами. Куда мы с мамой шли в этот трескучий мороз? Что заставило нас покинуть теплый сыроватый подвал? Не помню.

Жизнь в основном проходила на территории клиники, за пределы которой я выходил очень редко. Питались все за общим столом, скудно. Заметное место в ежедневном меню занимала мамалыга — кукурузная каша, своеобразный символ воцарившейся румыно-молдавской цивилизации. Тепла и воды не хватало. Время от времени устраивали всеобщую помывку: грели ведра с водой и мылись по очереди на кухне. От холода и грязи завелись вши. Запомнились картины вечернего досуга: при тусклом свете керосиновой лампы обитатели подвала, и я в том числе, ищут насекомых в складках и швах одежды и давят ногтями эту противную беловатую живность.

Однажды мама сказала мне:

— Одевайся. Пойдем прощаться с бабушкой и дедушкой.

Я ничего не понял.

— Они умерли, — коротко пояснила мама.

Я замолчал. С тех пор как в город вошли немцы, я ничего не знал о наших близких, ни о бабушке с дедушкой, ни об отце.

Мы прошли через больничный двор и оказались в каком-то одноэтажном корпусе, вероятно в морге. В центре пустого зала, показавшегося мне громадным, на металлическом столе

недвижно лежали на спине два знакомых мне тела: бабушка и дедушка. Дедушка лежал в нижнем белье, в теплых женских панталонах лилового цвета, бабушка была в капоте. Пронзительно белые лица их с закрытыми глазами были каменно спокойны.

Как избежали они общей участи одесских евреев, где прожили последний месяц, как попали в клинику, почему умерли в один день, словно персонажи сказки со счастливым концом, — я ничего об этом не знаю. Спросить не у кого. Могу только предполагать, что и их пытались спасти Кобозевы и что они покончили с собой, потому что жизнь казалась страшнее смерти.

Молча мы стояли перед покойниками. Мама беззвучно плакала. Ледяная недетская печаль сковала мое сердце, я впервые стоял перед телами близких людей, из которых ушла жизнь. Так вот, оказывается, каково некрасивое обличье смерти. Две безжизненные куклы, облаченные в нелепые одежды, вместо бабушки и дедушки, еще недавно державших меня на коленях и рассказывавших мне сказки. Простота и будничность ухода из жизни предстали передо мной в своей ужасающей наготе.

Не знаю, кто и где похоронил старых Якова и Дину Раппопорт. Смерть в эти времена, когда гибли десятки и сотни тысяч людей, перестала быть событием. Вероятно, их могила, если и была устроена специально для них, не сохранилась.

Жизнь между тем шла своим чередом. К концу зимы подвальное существование окончилось. Мама начала работать помощником румынского адвоката, приехавшего из Бухареста и открывшего в Одессе свою контору. Мы покинули клинику и поселились на Молдаванке в небольшой комнате в коммунальной квартире. Квартира была небольшая, кроме нас жила еще одна семья — женщина с дочерью, подростком лет тринадцати. Я не знаю, как был организован переезд, но в комнате, к моей великой радости, оказались наши вещи и книги. Новой деталью интерьера была икона, повешенная в углу. Иисус ободряюще смотрел на меня, когда вечерами, перед сном, стоя на коленях, я в меру громко, чтобы слышали соседи, читал «Отче наш». Бесплотное слово «бог», которое я встречал уже в книгах, впервые обрело для меня некое материальное значение. Я представлял его в виде всемогущего и всевидящего старца, обитающего неведомо где и вместе со своим сыном Иисусом защищающего хороших и добрых людей от всяческих напастей. Очень хотелось верить, что бог возьмет нас под свое покровительство.

Дни по большей части я проводил дома и, несмотря на разницу в возрасте, подружился с девочкой-соседкой. Девочка нравилась мне.

— Я женюсь на тебе, когда вырасту большой, — убежденно говорил я.

Девочка смеялась и кормила меня карамельками.

Идиллия продолжалась недолго: громкие молитвы не помогли, в начале весны нас арестовали как скрывающихся евреев.

Разумеется, автор доноса остался неизвестен. Из разговоров взрослых, да и впоследствии, возвращаясь мысленно к этим трагическим дням, я сделал для себя вывод, что донесла наша любезная соседка. Ведь это было так естественно: можно было совершенно спокойно, без всяких хлопот получить комнату и вещи, стать хозяйкой собственной или, как говорили в Одессе, самостоятельной квартиры. В трудное военное время это было хорошим подспорьем, удачей, которой было грех не воспользоваться. К тому же все соответствовало законам Транснистрии: ведь евреев нельзя было скрывать, напротив, их надо было выявлять и передавать оккупационным властям.

Надо сказать, что тыловые румынские власти не проявляли особого рвения в вылавливании евреев, уцелевших от массовых казней. Выполнив основную грязную работу, они переключились на рутинные административные дела и коммерцию. Румынские офицеры говорили, что они и рады были бы закрывать глаза на то, что кое-где еще существуют отдельные представители этой вредной национальности, но на доносы они обязаны реагировать. А доносы, увы, были.

Во всяком случае, помнится мне, так рассказывала Марья Михайловна, а она, имевшая коммерческие дела с румынами, получала информацию, так сказать, из первых рук.

В этот раз нас привели уже не в школу, наскоро превращенную в подобие пересыльной тюрьмы. Новая власть обосновалась в городе, и полицейский участок удобно разместился там, где еще не так давно была советская милиция. Нас бросили в полуподвал, в большую общую камеру, где на двухэтажных нарах разместилось человек двадцать, мужчины и женщины, старики и молодые — довольно смешанное общество.

Мама тихо сказала мне:

— У нас документы в порядке. Нам помогут. Надеюсь, что мы отсюда выберемся.

Я успокоился и стал смотреть на окружающих с чувством жалости и некоторого превосходства.

Вечером в камеру вошел ражий детина. Тусклая лампочка осветила его грубое, молодое лицо. Помахивая обрезком резинового шланга, он ткнул пальцем в седого небритого старика, сидящего на нижних нарах, и рявкнул неожиданно тонким

голосом:

— Ты! Иди сюда!

Старик сполз с полки и вышел на середину камеры.

— Ложись и спусти штаны! — гаркнул парень.

Старик покорно лег на грязный цементный пол лицом вниз. Парень принялся избивать его резиновой дубинкой. Камера притихла, глухо слышались удары и тяжелое дыхание палача. Старик молчал. С верхнего яруса нар я с ужасом смотрел на эту сцену. Наконец парень устал.

— Гата, — разогнувшись, сказал он почему-то по-румынски, очевидно подражая своим хозяевам. Как по смыслу, так и по звукоподражанию слово было понятно: готово, кончено.

Детина ушел. Загремели запоры. Старик медленно поднялся и доплелся до нар. Арестанты молчали. Скоро камера погрузилась в сон. Заснул и я, прижавшись к маме.

Проснулся я от ощущения страшной пустоты: мамы рядом не было. Чернота ночи окружала меня. Лишь подслеповатая лампочка над дверью отбрасывала тусклое пятно света на грязный потолок. В полутьме на нарах громоздились темные очертания тел, слышался разноголосый храп, кто-то бессвязно бормотал во сне.

Как рассказать о переживаниях ребенка, которому едва исполнилось восемь лет и который остается ночью в тюремной камере, набитой чужими людьми! Маленький и ничтожный, я чувствовал себя беззащитной пушинкой перед гигантской черной волной ужаса, готовой обрушиться и поглотить меня. Сжавшись в маленький дрожащий комочек, я лежал с широко открытыми глазами и ждал. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я услышал за дверью шаги. Сердце замерло. Шаги остановились у двери, замок заскрипел, дверь отворилась, в прямоугольнике света возник знакомый любимый силуэт. Позади маячил полицейский.

Мама. Даже в неволе, в застенке, где правит жестокая воля чужих, вооруженных людей, ты и только ты моя защита от безжалостно надвигающейся, чудовищной машины зла. Как хорошо, что ты снова рядом, как быстро возвращается жизнь и отступает темный, давящий страх.

— Где ты была? — прошептал я.

— На допросе, — ответила мама. — Здесь допрашивают по ночам. Спи. Все утрясется.

Днем обитателей камеры ненадолго вывели на прогулку во двор. Хорошо помню этот большой квадратный тюремный двор, огороженный со всех сторон приземистыми неказистыми зданиями с решетками на окнах. Сквозь булыжник уже

пробивалась нежная зелень травы. Хорошо промытое ночным дождем весеннее небо радостно сияло голубизной. После спертого воздуха подвала дышалось легко, и даже темные фигуры полицейских не казались такими мрачными.

Мой второй тюремный срок также оказался недолгим: на следующий день нас выпустили. Но следствие не было закрыто, оккупационные власти настойчиво хотели установить нашу национальность. Таким образом, выражаясь современным юридическим языком, нам просто изменили меру пресечения.

Насколько я знаю, организовал наше освобождение «локотенент», а по-русски лейтенант Порумбеску, служивший в одесской сигуранце. Для тех, кто не знает, поясняю: сигуранца — это румынская тайная полиция, аналог гестапо или, если хотите, советского НКВД.

Я познакомился с Леней Порумбеску несколько позже. Это был щеголеватый офицер, красивый темноволосый молодой парень лет двадцати, прекрасно говоривший по-русски, что, впрочем, было неудивительно. Дело в том, что Леня был армянин, из семьи, бежавшей из Турции в 1915 году во время армянской резни и осевшей в Румынии, в православной стране. Настоящую его армянскую фамилию я не помню, да это и не важно. Гораздо важнее, что к этому времени он был женихом младшей дочки Кобозевых — Наташи и в этом качестве помогал семье и всем, кто входил в ее орбиту, чем только мог.

Мы вернулись в свою комнату и через несколько дней поехали к Кобозевым. В руках мама несла чемодан. К этому времени Кобозевы уже снова поселились в своей огромной квартире во втором этаже на улице Франца Меринга. Мы пили чай в большой столовой, взрослые разговаривали, слова не задевали моего внимания, скользили мимо, как шум ветра за окном, но вдруг я услышал, что говорят обо мне.

— Значит, ребенок останется у нас, — полуутвердительно-полувопросительно проговорил Иван Алексеевич.

Мама кивнула.

— Хорошо, — сказал Иван Алексеевич и внимательно посмотрел на меня.

Мама притянула меня к себе.

— Будь умницей, — сказала она, — и слушайся старших. Сейчас тебе безопасней жить здесь. Я буду приходить.

Не так-то просто восьмилетнему мальчику расстаться с мамой и поселиться в семье хотя и знакомой, но не родной. Но за последние полгода я основательно повзрослел. Поэтому прощание обошлось без слез, и я остался у Кобозевых.

Как это, наверное, часто бывает в семьях, вырастивших много

детей, не так уж много тепла и внимания достается на долю каждого ребенка. В то же время я не чувствовал себя чужим в семье, в которой я так неожиданно оказался. Можно сказать, что в семейной иерархии я занял то же место, что и мой сверстник Вова, внук Кобозевых.

С Вовой мы подружились еще зимой и сейчас вместе осваивали пространство квартиры. Квартира состояла из восьми комнат, разделенных длинным коридором. Налево от парадной двери была приемная, врачебные кабинеты Татьяны и Ивана Алексеевича и спальня Ивана Алексеевича и Марьи Михайловны. Справа были четыре жилые комнаты, в том числе большая красивая столовая с балконом. В одной из этих комнат жила Наташа, в другой спали мы с Вовой. В самой дальней жила Татьяна с двухлетним Толей и няней Мальвиной. У этой комнаты длинный коридор поворачивал налево. Где-то в середине он прерывался ступеньками, которые вели вверх и вниз. Спустившись на несколько ступенек вниз, можно было продолжить путь в сторону ванной, уборной, кухни и черного хода. Деревянная лестница, идущая вверх, приводила на антресоль — большую темную комнату с низким потолком, сплошь заваленную хламом: старыми сундуками, поломанной мебелью и прочей дрянью, плотно укутанной пылью веков. Почему-то именно там, скрывшись от взрослых, сидя под скрипучим трехногим столом, мы с Вовой любили проводить часы в разговорах, мечтах и играх.

По вечерам, когда спускались сумерки, и по утрам, проснувшись, я смотрел в окно и думал о маме. Мама приходила часто, но ненадолго. Я плохо понимал разговоры взрослых, каким-то размытым фоном во время коротких свиданий служили мамины слова о том, что следствие заканчивается и скоро будет передано в суд, что очень важным свидетелем защиты будет некая доброжелательная старуха Сапегина, которая должна подтвердить мамино происхождение из русской семьи и чуть ли не свое присутствие на маминых крестинах. Казалось бы, слова скользили по краю сознания, а застряли в памяти на шестьдесят лет.

Между тем весна уже вовсю хозяйничала в городе, дни стояли майские, теплые, деревья покрылись нежной зеленой листвой, небо очистилось от зимних туч и поголубело. Однажды мама пришла днем, когда я играл в футбол с ребятами во дворе. Она поднялась в квартиру, потом вышла и остановилась в дверях подъезда.

— Мишенька, — позвала мама.

— Мама, потом, — закричал я на бегу, — мы же играем!

Мама стояла и смотрела. В азарте игры я искоса посматривал на нее, стараясь показаться молодцом. Мама улыбалась доброй, немного грустной улыбкой. Потом она помахала мне рукой и медленно, не оглядываясь, пошла в подворотню. Такой я и запомнил ее навсегда: стройная красивая женщина с грустным лицом в темной прямоугольной рамке дверного проема в подъезде, выходящем в мрачноватую длинную подворотню.

На следующий день, когда семья собиралась к обеду, примчалась Марья Михайловна. Входя в столовую, я услышал конец ее рассказа — фразу на дурном французском языке:

— Адвокат сказал: «O madame, tres mal, tres mal, madame Baranoffsky mort».

В столовой стало очень тихо. В то время я не знал французского, но эти слова я почему-то сразу понял без перевода. В эту минуту я сердцем ощутил, что моей мамы больше нет.

Много позже я узнал, что на процессе старуха Сапегина запуталась в показаниях, неправильно указала даты, и ее свидетельство не было принято во внимание. Ценой этой рассеянности и плохо выученного урока стала жизнь человека. Суд признал обвинение в еврейском происхождении подсудимой доказанным, и приговор был — смерть.

Легче понять бандитскую логику массовых убийств, чем этот чудовищный процесс, где виной человека был факт его рождения у родителей-евреев, процесс, который, очевидно, состоялся по всем правилам искусства: с предварительным и судебным следствием, с речами защитника и прокурора и судебным вердиктом. Юристы, вероятно, провели этот процесс безупречно.

Уже взрослым я часто думал о том, как закончилась жизнь моей матери, пуля или петля поставили точку, как прожила она последние мгновения перед смертью и вспоминала ли она последний взгляд своего маленького сына, остающегося на Земле сиротой.

Но тогда, в мае 1942 года, я принял это страшное известие внешне спокойно. Горе было слишком велико, чтобы вместиться в мое детское сознание. Я не задавал вопросов, а взрослые ничего не говорили. Поэтому где-то в глубине души гнездилась надежда на то, что мама, может быть, еще появится. Только осенью, когда Марья Михайловна начала надевать сшитое перед войной мамино пальто, отороченное коричневым каракулем, я окончательно понял, что мама не вернется никогда.

До гибели мамы я жил у Кобозевых временно, гостем. Теперь я стал членом семьи. Это произошло естественно, без лишних слов, словно иное решение было невозможно. Действительно, что делать с восьмилетним ребенком, у которого убили мать, а об

отце известно лишь то, что он сидит в тюрьме и замечательная румынская Фемида должна решить его судьбу. Только повзрослев, я осознал истиный масштаб подвига, так незаметно совершенного моей новой семьей.

Потянулась, завертелась новая жизнь. Однажды Марья Михайловна сказала: «Сегодня мы едем в церковь. Надо тебя окрестить». Из книжек я уже знал, что младенцев крестят, окуная в купель с водой, и заволновался: как же это меня при всех будут раздевать и окунать в воду. Марья Михайловна улыбнулась: «Не беспокойся, все устроится». Смутно помню маленький пустой храм где-то на окраине, у кладбища, старика священника, помазавшего мне лоб душистым миром и прочитавшего нараспев незнакомые мне слова. Мои крестные, Иван Алексеевич и ранее неизвестная мне Надежда Феодоровна Стрешкивская, стояли рядом. Меня нарекли Михаилом. В крестильном свидетельстве, где дата крещения была отнесена далеко назад, мою фамилию слегка изменили, придав ей более славянское звучание. Теперь моя фамилия была Барацкий.

Спустя три года Марья Михайловна привезла это свидетельство в Москву, в мою новую семью.

— Может быть, эта бумага поможет Мише вступить в комсомол, — сказала она, вероятно имея в виду нарождающийся антисемитизм.

Долго еще мы все посмеивались над этой великолепной наивностью старой одесситки. А бумага, уже пожелтевшая, более полувека лежит среди моих документов, напоминая о событиях далеких и страшных лет.

Лето 1942 года пролетело на даче в районе Большого Фонтана. Вспоминается живший рядом какой-то русский мальчик не то из Молдавии, не то из Румынии. Мальчик чуть постарше меня и Вовы и, может быть, оттого кажется нам высокомерным. Однажды мы с ним на пари чистили картошку — кто быстрее, и я проиграл. Хорошо помню это неприятное чувство унижения, неприятное вдвойне, потому что сам мальчик недружелюбен.

Этим летом я едва не сломал себе шею, но приобрел небесполезный в жизни опыт уличного мальчишки. Мы с Вовой ехали зайцами в трамвае с Большого Фонтана. Злобная тетка-кондукторша, катаевская мадам Стороженко, столкнула нас на ходу с подножки вагона. Вова спрыгнул удачно, а я лечу в траву кувырком, но каким-то чудом голова, руки и ноги остаются целыми.

Пришла осень, и Вова пошел в школу. Меня отдать в школу не рискнули: несмотря на крещение, это было слишком опасно. Я

проводил время дома за чтением. Книг у Кобозевых было мало, но где-то в глубинах квартиры я раскопал подшивки «Нивы» времен Первой мировой войны. Было интересно читать о сражениях с немцами, о подвигах русских воинов, разглядывать иллюстрации, перемежающиеся рекламными объявлениями о корсетных мастерских и премьерах в кафешантане. Старая орфография не была мне в новинку, а здесь она была особенно к месту, оттеняя исторический фон событий, которые казались мне глубокой древностью.

В хорошие дни ребята нашего двора играли на улице в войну. Неподалеку, на месте разбитого бомбежкой дома, была груда развалин. Мы звали ее — развалка. Там, в развалке, среди обрушившихся стен, когда-то сложенных из аккуратно выпиленного ракушечника, среди скрученного, обгоревшего металла, среди останков погибшего быта кипели наши детские битвы и страсти. Там мальчик с белокурыми локонами и белым отложным воротником, маленький лорд Фаунтлерой, превращался в уличного разбойника.

В середине октября в Одессе был большой праздник: отмечалась годовщина вступления в город оккупационных войск, или, в официальной версии, годовщина освобождения Одессы от большевиков. По этому знаменательному поводу городской голова профессор Часовников, известный одесский хирург, давал парадный обед, и профессор Кобозев был в числе приглашенных.

Боже, что творилось в доме накануне торжества! Выворачивались наизнанку шкафы, выволакивалось дореволюционное содержимое сундуков, что-то перешивалось, что-то стиралось, что-то гладилось, и, наконец, к назначенному часу на Ивана Алексеевича надели белую крахмальную рубашку с манишкой, долго вдевали дорогие перламутровые запонки, повязали бабочку и помогли надеть в рукава длинную темно-серую визитку со скругленными полами. Теперь перед нами стоял немолодой респектабельный джентльмен, о котором невозможно было подумать, что всего несколько месяцев тому назад он давил вшей в холодном подвале.

Джентльмен надел вычищенный котелок, несомненно впервые за последние двадцать лет, и спустился к вызванной заранее пролетке.

Интересно было бы узнать, кто еще участвовал в этом обеде, какие поднимались тосты в честь немецко-румынских «освободителей», что стало с участниками обеда после освобождения Одессы от «освободителей». Мне известны только судьбы профессоров Часовникова и Кобозева. Городской голова Часовников в апреле 1944 года покинул Одессу вместе с

отступающими румынскими войсками, был арестован в Румынии соответствующими советскими органами, судим и отправлен на долгие годы в лагеря. Может быть, он это заслужил. Профессор Кобозев, не только спасавший еврейские жизни, но и укрывший в своей клинике раненых красноармейцев, получил в конце войны боевой орден Красной Звезды. Но не будем забегать вперед.

Ближе к зиме в нашей квартире поселился немецкий майор, аккуратный, подтянутый немолодой офицер в хорошо пригнанной серой форме с серебряными витыми погончиками. Любопытный детский глаз, внимательный ко всему военному, отметил детали чужой униформы: высоко задранную тулью офицерской фуражки, пистолет на левом боку, а не на правом, как в Красной армии, нашивку за ранение. Майору отдали лучшую комнату — огромную столовую. Он был очень вежлив, здороваясь, щелкал каблуками, склоняя голову с идеальным пробором, и однажды прислал целую машину угля, который сгрузили в наш сарай во дворе. Это была щедрая плата за постой. Ведь в доме не было центрального отопления, и в каждой комнате были так называемые голландские печи, облицованные до потолка белым кафелем. Печи топились либо углем, либо торфяными брикетами — черными жирноватыми кирпичами. Майор прожил у нас недолго, а уголь остался. Я любил, приоткрыв тяжелую чугунную заслонку топки, шевелить кочергой догорающие красновато-карминовые угольки, излучающие ровный сухой жар. Хорошо было также в морозный день, прибежав с холода, прижаться спиной к горячему кафелю и наслаждаться теплом, легко наполняющим мое маленькое тело.

Этой зимой нашу квартиру посетил военный комендант Транснистрии генерал Георгиу. Вероятно, у генерала что-то случилось с глазами. Впрочем, возможно, были и коммерческие причины. Какие-то обрывки взрослых разговоров о золотом портсигаре, который он не то купил, не то продал, долетали до детских ушей. Так или иначе, но визит столь значительного лица был грандиозным событием. К визиту готовились, домашним было велено не шуметь и не мозолить глаза. Генерал прибыл вовремя и, сопровождаемый адъютантом, проследовал в кабинет Ивана Алексеевича.

Привычное течение жизни в квартире замерло ненадолго. Дети, плохо ощущающие исторический масштаб события, затеяли обычную возню. Я мчался по коридору и едва не врезался в генерала, выходящего из кабинета. Генерал, высокий седеющий мужчина в форме с красными лампасами, положил теплую мягкую руку на мою стриженую голову и, слегка запрокинув ее, заглянул мне в глаза. Я увидел обыкновенное чисто выбритое

лицо с небольшими темными усами и ощутил запах хорошего одеколона. Генерал что-то сказал, вероятно по-французски, все вежливо улыбнулись и двинулись к выходу.

Много позже, уже взрослым, я однажды подумал, что генеральская рука, потрепавшая меня по голове, вполне возможно, утвердила смертный приговор моей маме. Конечно, если румынское правосудие нуждалось в этих формальностях.

Знакомство с высоким начальством полезно во все времена, а в годы оккупации тем более. Эта простая истина очень скоро подтвердилась. Как-то днем в квартиру пришли два румынских солдата с винтовками и предъявили ордер на арест Марьи Михайловны. Что послужило основанием — не знаю. Может быть, донос на ее еврейское происхождение, а может быть, обвинение в каких-то недозволенных гешефтах. Так или иначе, они на ломаном русском языке приказали ей собираться.

— Хорошо, — сказала Марья Михайловна, — я сейчас соберу вещи и зайду в туалет.

И она исчезла в глубинах квартиры. Солдаты сняли ружья и спокойно ждали, расположившись в приемной, которую они быстро наполнили дымом и ужасным запахом махорки, но Марья Михайловна не появлялась. Наконец солдаты забеспокоились. Один из них пошел обследовать квартиру и обнаружил незапертый черный ход. Арестованная старуха улизнула. Солдаты пришли в ярость.

— Одевайся! — приказали они Татьяне. — Пойдешь с нами.

И они увели ее. Маленький Толя горько плакал. Остальные притихли в ожидании дальнейших событий.

Но долго ждать не пришлось. Очень скоро, возможно через час, в квартиру влетела всклокоченная Марья Михайловна. В победоносно поднятой руке белел листок бумаги. Если бы я тогда был старше, возможно, я бы вспомнил Нику Самофракийскую. Впрочем, можно было бы найти аналогию и с историческим жестом Чемберлена, прилетевшего из Мюнхена и заявившего на аэродроме, потрясая печально известным договором: «Я привез вам мир!»

— Вот, — победительно кричала она, — читайте!

— Дай бумагу, мутерша, — сказала спокойная Наташа.

В бумаге, которую Наташа прочла вслух, было сказано, что податель сего, Мария Михайловна Кобозева, не подлежит задержанию и имеет право доступа к генералу Георгиу в любое время.

Узнав, что солдаты увели Татьяну, Мария Михайловна закричала уже на бегу:

— Сейчас они узнают, с кем имеют дело! — и помчалась

вызволять дочь.

Скоро все были дома и мирно ужинали, обсуждая перипетии уходящего дня.

Теперь, одержав эту важную победу над завоевателями и ощутив себя особой, близкой к коменданту важной персоной, Мария Михайловна, пожалуй, не удивилась бы, если бы румыны начали отдавать ей честь. Во всяком случае, она не спускала им ничего. Как-то вечером мы с Вовой возвращались домой пустынной темной улицей, освещая себе путь ручным фонариком. Это был не совсем обычный фонарик, мы называли его жуком: вместо батарейки в него был встроен маленький генератор. Он и в самом деле был похож на жука: черный, бочкообразный, с блестящей клавишей, идущей вдоль тела. Ритмичное нажатие клавиши приводило генератор в действие, фонарик симпатично жужжал, и луч света освещал путь. Это был действительно хороший фонарик, и патруль, на который мы натолкнулись уже недалеко от дома, был того же мнения. Два румынских солдата реквизировали фонарик и отпустили нас с миром. Мария Михайловна пришла в ярость. Несмотря на поздний час, она помчалась в префектуру наводить порядок. Через полчаса ее торжествующий голос в прихожей возвестил о том, что порядок восстановлен.

Однажды случилось невероятное событие: появился отец. Он пришел, как всегда, элегантно одетый, с неизменной черной лакированной тростью, висящей на сгибе левой руки. Рассказ его был очень краток: он просидел много месяцев в тюрьме и вот наконец его выпустили.

— За что тебя арестовали? — наивно спросил я.

— Меня обвинили в том, что я большевик, — с саркастическим выражением лица ответил отец.

Сарказм запомнился, но оценил его я значительно позже, повзрослев. Полагаю, что для отца вступление в ВКП(б) было бы столь же противоестественным, как и хождение вверх ногами. Не сразу также я узнал, что в тюрьме отец пытался покончить жизнь самоубийством, желая и в выборе смерти остаться свободным человеком. Он вскрыл вену на левой руке, но умереть ему не дали. Шрам на запястье, стянутые в узел сухожилия и кожа остались до конца дней.

Вспоминаются разговоры о том, что, будучи евреем по национальности, отец как православный и к тому же георгиевский кавалер, согласно оккупационным законам, имел право на жизнь, не разделяя судьбу своих сородичей. Достоверно знаю, что из тюрьмы его вызволила православная церковь, не забывшая его роль в судебных процессах против священников в

двадцатых годах.

Отец начал приходить регулярно два раза в неделю и заниматься со мной. Каждый раз он приносил два пирожных, подразумевалось, что одно для меня, другое для Вовы. Мы занимались русским языком, литературой, историей, арифметикой. Учебников не помню, но до сих пор помню стихи Пушкина и Лермонтова, которые полагалось выучить наизусть. Стихи я учил легко, но однажды не выучил к сроку пушкинское стихотворение «Делибаш». Отец рассердился и ушел, пирожные, правда, оставил. К следующему уроку я уже бойко декламировал, упиваясь чеканным хореем и фантастически яркой и сказочной картиной стычки, а на современном новоязе — боестолкновения:

Делибаш уже на пике,
А казак без головы.

Ритм стиха я чувствовал хорошо. А вот музыкального слуха, к сожалению, не было. Выяснилось это очень скоро, когда нас с Вовой начали водить к учительнице музыки. Мы учились читать ноты; я восхитился волшебным начертанием скрипичного ключа и старался воспроизвести его на каждом клочке чистой бумаги. Через короткое время мы играли гаммы на фортепиано, барабанили чижика-пыжика и даже, кажется, собачий вальс. На этом как-то вдруг стало ясно, что вундеркиндов из нас не получится, и мое музыкальное образование кончилось.

Таким образом, жизнь постепенно вернулась в мирную, размеренную колею. Здесь изумительно подходит английское слово regular. По утрам Иван Алексеевич уезжал в клинику и возвращался поздно вечером. Татьяна принимала больных дома. Среди пациентов было много румынских солдат: оторванные от семьи мужчины легко становились добычей мерзких болезней.

Регулярно, раз в две недели, к Ивану Алексеевичу приходил парикмахер, немолодой солидный человек с маленьким чемоданчиком. Он надевал белый халат, вынимал блестящие никелированные инструменты и становился похожим на врача. Иван Алексеевич усаживался в спальне перед большим зеркалом, покрывался белой накидкой, и начиналось долгое священнодействие, сопровождаемое неспешной беседой. Ведь, как известно, парикмахеры — самые разговорчивые мужчины на свете.

По воскресеньям приходили Уточкины, пожилые супруги, родители фиктивного мужа Татьяны и родственники знаменитого русского авиатора. Уточкины — впрочем, возможно, они носили

другую фамилию — были постоянными партнерами Ивана Алексеевича по игре в вист. В большой столовой раздвигался старинный ломберный столик красного дерева на гнутых ножках, спускалась пониже старинная люстра, висевшая на золоченой, а может быть бронзовой, цепи, ярко освещалось зеленое сукно, и начиналась долгая, спокойная, непонятная детям игра, прерываемая время от времени неизвестными нам словами. Потом ужинали, пили чай с белыми свежайшими булочками, за которыми я или Вова бегали в пекарню неподалеку. Булочки назывались французскими, необыкновенно вкусный хрустящий гребешок пересекал круглую пышную булочку посередине, словно экватор. Булочка разрезалась, намазывалась маслом, а поверх укладывался ломтик вареной колбасы, аромат которой тревожил буйный детский аппетит.

Похоже, что в Одессе теперь можно было купить все, что угодно. Вероятно, такое впечатление сложилось от зимних поездок на базар, изобильный одесский базар, где краснолицые, укутанные в тулупы деревенские бабы топтались на снегу у длинных деревянных прилавков и ожесточенно, крикливо торговались с покупателями. Глаза разбегались от снеди, выставленной на продажу: домашние украинские колбасы, свернутые аппетитной спиралью, толстенные куски белого с розовыми прожилками сала, бочки с квашеной капустой, мочеными яблоками и огурцами особой засолки, бидоны с творогом и сметаной, пирамиды белоснежных яиц — казалось, наконец-то наступили спокойные, сытные времена. Неумолкаемый галдеж продавцов и покупателей сливался в монотонный шум, висящий в морозном воздухе. Шум перекрывался взвизгиванием переходящих из рук в руки кур, и их отчаянное кудахтанье вносило тревожный диссонанс в мирное течение базарной жизни.

Мы, мальчики, помогали Марье Михайловне наполнять корзины, пока они не становились неподъемными. Тогда нанимались сани, зимний вариант извозчика, и, взгромоздясь на холодные сиденья, мы лихо неслись домой по заснеженным одесским улицам.

Хотя мамалыга исчезла с нашего стола, но базарное изобилие, поражавшее детское воображение, вероятно, было не слишком доступным. Например, сахар был лакомством, чай пили с таблетками сахарина. Каждый день Иван Алексеевич звал Вову и меня в спальню, открывал шкаф и выдавал нам сахар, называемый им в шутку пайком: небольшой кусочек колотого сахара, который можно было тут же положить в рот и наслаждаться сладостным, но быстро исчезающим вкусом.

Однажды нам, мальчикам, поручили сбивать масло из купленной на базаре сметаны. Мы трудились усердно, меняя друг друга, и наконец-то добились результата, получив свежайшее, желтое, вкуснейшее в моей жизни сливочное масло. Этот процесс ручного преобразования одной субстанции в другую чем-то напоминал получение огня трением. Домашнее изготовление мороженого было не таким утомительным. В доме еще с дореволюционных времен сохранилась так называемая мороженица. Это был металлический агрегат, похожий на большой бидон, с двойными стенками, между которыми закладывался лед, и с рукояткой, которую надо было вертеть, пока сливки, сахар и прочие ингредиенты в основной емкости не превращались в заветную массу.

На Рождество варили кутью. Это была вкусная еда, что-то вроде сладкого холодного супа из какой-то крупы, может быть — пшеницы, где были и орехи, и мак, и изюм. Накануне вечером вокруг стола собиралась семья, чистила орехи и сортировала крупу, а может быть — пшеничные зерна, отсеивая мусор, которого было в избытке. Это кропотливое семейное занятие почему-то напоминало мне недавние картины вечернего истребления вшей во времена сидения в подвале.

Но, конечно, вкуснее всего ели на Пасху. Хорошо помню приготовления к празднику, бьющие в окно лучи весеннего солнца, освещающие длинный стол, накрытый белоснежной накрахмаленной скатертью, цветные яйца, которые мы накануне красили в луковой шелухе, домашние и рыночные соленья, копчености, окорока, покрытые нежной желтоватой пленкой жира, графины с рубиново-красным вином, хорошо начищенный никелированный самовар, в котором отражались наши деформированные детские рожицы.

Пока взрослые в своих комнатах собирались к праздничной трапезе, мы с Вовой решили произвести небольшой эксперимент. Прихватив шприц, который в медицинской семье найти было нетрудно, мы наполнили его вином и решили сделать инъекцию окороку. Мы вонзили иглу в желтое пятно жира и надавили на поршень. Окорок инъекцию не принял. Струйка красного вина, вырвавшись наружу, обрызгала нам лица и рубашки. Шалость сделалась явной, но ради праздника была прощена.

Не только гастрономические радости украшали нашу детскую жизнь. Однажды нас повели в театр на спектакль «Принц и нищий». Книгу я уже читал и любил. Оба героя, и принц Эдуард, и нищий Том, были моими старыми друзьями. Теперь я увидел и услышал их, передо мной предстали пышный королевский двор и убогая жизнь бедняков. Несмотря на знакомый сюжет, я жадно

следил за развитием действия, а когда оркестр затих и провинциальный трагик в роли отшельника, зверски вращая глазами, занес над связанным принцем нож, исторгнув из себя мощный вибрирующий рык: «Молись, несчастный!» — казалось, закачались стены, я закрыл глаза от ужаса, а сидящая рядом девочка зарыдала.

В театре я был впервые, в первый раз я воочию увидел, как оживают бесстрастные строчки книжек. Это было потрясающее, незабываемое впечатление. Ведь я еще и в кино-то никогда не был. Эти часы, прожитые мной в старой Англии, пролетели как миг, но долго еще в снах я видел себя то в королевском дворце, то в жалкой хижине нищего семейства.

Так внешне спокойно, во всяком случае для детского восприятия, протекала жизнь в оккупированной Одессе. Фронт был далеко на востоке. Одесса была глубоким тылом, где о войне напоминали неубранные развалины домов и обилие чужеземных военных на улицах. Радио не было, о событиях мы узнавали от Лени Порумбеску и из газеты «Молва», выпуск которой был разрешен, а скорее всего организован оккупационными властями. Газета запомнилась мне главным образом двумя замечательными фельетонами из советской жизни, нелепость которых, видимо, сильно поразила мое детское воображение. Один фельетон назывался «Борщ с начальником милиции» и был о человеке, которого обвинили в том, что он съел упомянутого начальника. Дело в том, что обвиняемый рассказывал, как он обедал и ел борщ с начальником милиции. Автор второго фельетона развернул на целый подвал старый анекдот о человеке, которого арестовали, когда он сказал, что поджидает трамвай, но выпустили, потому что он догадался исправиться и сказать, что трамвай он подъевреивал.

Военные действия описывались в восторженных словах: доблестные немецкие войска одерживали одну победу за другой. Однако постепенно тон статей начал меняться. Поползли слухи о поражении немцев под Сталинградом, затем о битве на Орловско-Курской дуге. Стали появляться строчки о тяжелых оборонительных боях. Об отступлении не говорилось никогда, но можно было прочесть, что по стратегическим соображениям и в целях сокращения линии фронта немецкие войска оставили такие-то и такие-то населенные пункты. Использовалось также замечательное выражение — «эластичная оборона». Пропагандисты, изобретатели эвфемизмов, везде не даром едят свой хлеб.

По мере приближения фронта облик Одессы постепенно начал меняться. Заметно увеличилось количество войск, особенно

немецких. В районе вокзала часто можно было увидеть немецкие маршевые части в походной форме и амуниции, в сапогах с голенищами раструбом, с штык-ножами на поясе и огромными ранцами за спиной. Лица их радости не излучали.

Солдаты стали злее, однажды это почувствовали и мы. Как-то раз мы с Вовой, сопровождаемые Марьей Михайловной, отправились за керосином для кухонных надобностей. Хотя в основном пищу готовили на дровяной плите, но и примусу находилась работа. Мы несли бидончик с керосином, и навстречу нам из-за угла вышла группа немецких солдат. Что-то в нас им не понравилось, и, поравнявшись с нами, немец ударил хорошо вычищенным сапогом по бидончику, который с грохотом отлетел в сторону, а драгоценный керосин разлился по тротуару. Немцы засмеялись и пошли дальше. Мария Михайловна молчала, теперь и эта неустрашимая женщина почувствовала опасность.

В один прекрасный день стало известно, что сигуранца арестовала Николая Уточкина, мужа Татьяны. Я догадывался о том, что он был связан с подпольщиками, потому что однажды увидел у него пистолет. Мы носили ему передачи в городскую тюрьму, где некогда сидел и я. К счастью, заключение было недолгим: Леня Порумбеску помог ему выйти на свободу, и Николай ушел в отряд, скрывавшийся в катакомбах.

Наступил 1944 год. Конец оккупации был не за горами. В воздухе пахло весной и освобождением. Немцы и румыны готовились к отступлению, очевидно в целях дальнейшего сокращения линии фронта. Жгли архивы, иногда горели дома. Я впервые видел, как пылал большой многоэтажный дом. Это было страшное, но замечательно красивое зрелище. Гигантские языки оранжевого пламени вздымались в небо. Пламя гудело, лопались стекла, с грохотом рушились балки перекрытий. Как черные птицы несчастья высоко в воздухе носились обгоревшие клочья бумаги. Дом стоял обособленно, огонь не мог перекинуться на другие здания, видимо, поэтому его не гасили.

Одесса жила слухами и надеждой. Надеялись, что город сдадут без боя, но боялись грабежей. Ходили слухи, что перед сдачей город будет отдан на разграбление казакам из власовской армии. Я часто видел их в городе. На нашей улице Франца Меринга, ближе к Преображенской, в полуподвале был кабачок, откуда в последнее время часто вываливались шумные группы слегка подвыпивших казаков. Они были в немецкой форме с нашивками РОА и, если память мне не изменяет, в кубанках вместо пилоток.

К возможным грабежам готовились и у нас дома. Ценные вещи прятали на антресоли в сундуки, заваливая их поломанной

мебелью. Шкатулки с драгоценностями засовывали в топки голландских печей и засыпали золой. В одну из печей поставили бутылки хорошего рейнского вина в красивых нерусских бутылках с длинными горлышками.

Стал появляться Николай. Он выходил из катакомб ненадолго и снова исчезал. Леня Порумбеску уходил с отступающими войсками, Наташа оставалась. Устоявшаяся жизнь снова всколыхнулась, наступило время тревожного ожидания.

Вечером 9 апреля мы услышали глухую канонаду. Стало понятно, что Красная армия уже на подступах к городу. В квартире погасили свет. Мы вышли на балкон. Канонада стала слышнее. Внезапно неподалеку просвистел снаряд и раздался взрыв. Стоять на балконе было небезопасно, мы ушли вглубь квартиры.

В эту ночь в Одессе мало кто спал. Утро ударило в окна горячими лучами южного апрельского солнца. С улицы, издалека, слышалась музыка, это были знакомые советские песни. Мы с Вовой выскочили на улицу. Люди шли и бежали в сторону Преображенской. Побежали и мы. По дороге мы едва не споткнулись о немецкого солдата. Он лежал на тротуаре навзничь, широко раскинув руки; невидящие глаза его были обращены к солнцу. На площади перед Преображенской улицей на фонарях, а может быть и на деревьях — точно не помню — висели трое румынских солдат. Их лица, искаженные предсмертной гримасой, долго еще стояли у меня перед глазами. На груди у каждого висела фанерная дощечка с надписью «мародер». А по Преображенской нескончаемым потоком в сторону вокзала нестройной колонной шли усталые красноармейцы в гимнастерках с погонами и с автоматами на груди. На площади стояла машина, вероятно полевая радиостанция, и на всю Одессу гремела песня из довоенного кинофильма:

Там на шахте угольной
Паренька приметили,
И в забой отправился
Парень молодой.

В начале мая, недели через три после освобождения города, я упаковал свои скромные пожитки в тот же чемоданчик, с которым когда-то появился у Кобозевых, за мной пришел отец, и мы отправились к нему домой. Прощание с семьей, в которой я прожил больше двух лет, было теплым, но без лишних сантиментов.

— Приходи, — коротко сказал Иван Алексеевич и положил мне в рот последний паек — кусочек сахара.

Хоть я и привык к резким переменам в своей судьбе и особых эмоций не испытывал, но мне уже было десять лет, неласковое слово «мачеха» было мне известно, и оттого в душе было неспокойно.

Мы пришли в дом, хорошо знакомый мне с виду, потому что он был недалеко от улицы Гоголя, где мы жили с мамой в далекие, навсегда ушедшие времена. Теперь я узнал, что в этом доме живет мой папа. Дом выходил фасадом на площадь имени Карла Маркса, на памятник Дюку, который смотрел на бульвар имени Фельдмана, на знаменитую одесскую лестницу и дальше — в море.

Мы вошли в подворотню, поднялись во второй этаж и вошли в квартиру. Навстречу вышла немолодая худощавая женщина с неожиданно приятным лицом.

— Вот, Наташа, — сказал отец, — знакомься. Это Миша.

— Будем знакомы, — сказала женщина, — меня зовут Наталья Максимовна.

Установив таким образом некую дистанцию, она положила мне руку на плечо и повела в комнаты. В одной из них на кушетке лежала грузная, очень старая женщина. Это была мать отца, моя новая бабушка Минна Самойловна. Немного позже я узнал, что она родилась в год отмены крепостного права, и теперь ей было 83 года. Бабушка внимательно посмотрела на меня и тихо сказала, ни к кому не обращаясь:

— Не очень похож на Яшу, но что-то есть.

Так состоялось знакомство с моей новой семьей. Не было только брата Володи, который несколько дней назад ушел в армию. По-видимому, мое появление в семье до его проводов сочли нежелательным. Не думаю, чтобы Володя вообще знал о моем существовании до той поры, когда отец был вынужден взять меня в свою семью. Конечно, для Натальи Максимовны никаких сюрпризов не было: ведь о связи отца знал весь город. Вероятно, необходимость взять в семью внебрачного сына своего мужа не доставила ей удовольствия, но выбора не было. Невозможно же было при живом отце оставить меня у Кобозевых или отправить в детский дом. В те времена в определенных кругах еще считались с приличиями. «Конвенансы надо соблюдать», — говаривала Наталья Максимовна и неуклонно следовала этому правилу.

Значительно позже, уже взрослым, вспоминая детство, я часто думал о том, как же получилось, что семья отца во время оккупации не пострадала. Погиб лишь его младший брат Виктор, тоже известный одесский адвокат, но не такой знаменитый.

Видимо, отец заблаговременно позаботился о надежных документах. Почему же мы с мамой оказались беззащитными? Мне часто хотелось задать ему этот вопрос, но язык не поворачивался.

Тогда, весной 1944 года, я об этом не думал. Война отступила далеко, постепенно налаживалась мирная жизнь. Отец начал работать юрисконсультом в горисполкоме, Наталья Максимовна директорствовала и преподавала в музыкальной школе. Когда-то она была пианисткой и, как говорили, подавала надежды, пока не попала в железнодорожную катастрофу. У нее была повреждена рука, и на карьере пианистки пришлось поставить крест.

Теперь я заново привыкал к отцу, которого прежде знал только как элегантного джентльмена с тростью. Поэтому я испытал некоторый шок, увидев его впервые с сетчатой авоськой, в которой он принес домой к обеду теплые, еще пахнувшие солнцем помидоры.

«Авоська» — меткое, замечательное, ныне почти забытое слово, кажется, так и не попавшее в академические словари, порождение нищих советских времен, когда кошелку — сплетенную из грубых нитей крупную сетку с ручками — можно было, уходя из дома, спрятать в карман на авось: вдруг по дороге удастся чем-нибудь разжиться.

Отец приходил домой в обеденный перерыв и перед обедом наливал себе маленькую рюмку водки из графинчика. Несмотря на возраст, а ему уже шел пятьдесят седьмой год, он был здоровым, видным мужчиной и элемент позерства не был ему чужд.

— Я хорошо проспиртован изнутри, — говорил он, — поэтому меня болезни не берут.

Он был устойчив к алкоголю, и это полезное свойство организма я, видимо, унаследовал от него. Впрочем, иногда ему приходилось эту устойчивость подкреплять: так, по его рассказам, отправляясь на довоенные обеды к итальянскому консулу, он выпивал бокал прованского масла.

— Гадость ужасная, — говорил он, — но потом можно пить не пьянея, а за столом, где бывают морские волки, поддерживать компанию не просто.

По вечерам, в хорошую погоду, пили чай на огромном балконе, откуда открывался роскошный вид на площадь, на Дюка, на Потемкинскую лестницу и на море.

Балкон опоясывал парадные комнаты квартиры, которых числом было три: большой отцовский кабинет и еще две, по неизвестной мне причине стоявшие совершенно пустыми. Кроме них в квартире было еще две жилые комнаты, где обитали

Наталья Максимовна, бабушка и я. Эти комнаты выходили во двор и находились в глубине квартиры, куда можно было попасть из парадной прихожей с огромными, также выходящими во двор окнами. По дороге надо было миновать большую, совершенно пустую проходную комнату. Словом, это была прекрасная, респектабельная квартира преуспевающего адвоката, и наша с мамой замечательная довоенная комната по сравнению с этой великолепной квартирой была убогой коммунальной жилплощадью.

Впрочем, воспоминания — нелегкий крест, который влачит по жизни душа взрослого человека. Мою безмятежную детскую память они не бередили. Довольно быстро я освоился с новой семьей и новым домом; отцовский кабинет днем, в его отсутствие, был моим любимым местом обитания. Это была красивая, очень светлая квадратная комната, открытая морскому ветру. В левом углу у окна стоял большой письменный стол и кресла, середину комнаты занимал круглый стол, покрытый зеленой скатертью, справа у стены был старинный диван с высокой спинкой, обтянутый черной кожей. Но главным украшением комнаты были книжные шкафы, где таились настоящие сокровища. Какие там были замечательные книги! Все-таки у Кобозевых мне их очень не хватало. Теперь я погрузился в чтение исторических хроник Шекспира, приключенческих романов Фенимора Купера, проглотил том за томом морские рассказы Станюковича, севастопольские рассказы Льва Толстого и даже прочитал «Войну и мир», отдавая, впрочем, предпочтение батальным сценам. Интересно было раскрыть наугад любой том брокгаузовской энциклопедии и читать статью за статьей, из которых возникало несколько сумбурное представление о сложности и многообразии мира. Книги были в роскошных дореволюционных изданиях, с золотыми обрезами, их было интересно не только читать, но и разглядывать в них старинные иллюстрации, гравюры, прикрытые шуршащей матовой папиросной бумагой.

Наступило лето, жаркое одесское лето. Я завел новых товарищей во дворе. Днем я был предоставлен себе. С дворовыми мальчишками мы играли в войну на развалинах соседнего дома, ездили на пляж в Аркадию или на Ланжерон. Разрешалось ходить и ездить куда угодно, но не следовало ездить в Дюковский сад: считалось, что это пристанище хулиганов. Этот сад, расположенный на окраине города, вероятно, был не хуже и не лучше других, но в моем воображении он представал неким разбойничьим логовом, которое надо обходить стороной.

В городе было полно людей в военной форме, и в нашем

дворе поселилась семья, в которой даже мальчик наших лет был одет в перешитое военное обмундирование. Не знаю, кто были эти люди, но мальчик относился к нам, детям, остававшимся на оккупированной территории, несколько свысока. Несомненно, он слышал разговоры взрослых, ведь даже дети, жившие в оккупации, стали существами второго сорта. Но однажды отец мальчика сделал ребятам нашего двора щедрый подарок: нас посадили в американский военный джип, «виллис» — открытую машину защитного цвета, и прокатили по городу. Детскому восторгу не было границ: уже просто посидеть в таком автомобиле было интересно, а уж проехаться по улицам на зависть ребятам соседнего двора — это было событие мирового масштаба, которое запомнилось на всю жизнь.

Не только американская техника стала появляться в городе. В порт приходили иностранные суда, и на улицах можно было встретить моряков, которые вместо привычных нам бескозырок носили береты с помпонами. Некоторые из моряков были чернокожие. Это были впервые увиденные мною негры. Представители угнетенного народа были белозубы, веселы, явно довольны жизнью и щедро угощали одесскую юную шпану шоколадками.

Однажды днем, когда взрослые были на работе, кто-то громко постучал в дверь черного хода. Я открыл, придерживая цепочку: передо мной стоял высокий военный, красноармеец в лихо заломленной пилотке.

— Вы к кому? — спросил я несколько растерянно.

Военный засмеялся:

— Я твой брат Володя. Давай знакомиться.

Так в моей жизни ненадолго появился старший брат. Ему было всего двадцать лет, но я смотрел на него снизу вверх, и мне он казался невероятно взрослым. На самом деле это был домашний мальчик, внезапно оторванный от семейного очага и брошенный в незнакомую и опасную жизнь. Он приехал на несколько дней в командировку и явно бравировал своей причастностью к боевой славе Красной армии, взахлеб рассказывая о своей воинской жизни и щеголяя военным жаргоном, в том числе многократным повторением непонятного и загадочного слова «помпотех».

На радостях были куплены билеты в оперу, и на следующий день я и Володя пошли слушать «Аиду». Идти было недалеко, и это было обидно, потому что десятилетнему мальчику прогулка по улицам со старшим братом в военной форме была, как сказали бы сегодня, «в кайф».

Театр был полон, знаменитый одесский оперный театр, о

котором говорили, что он построен по образцу Венской оперы, в чем спустя много лет я имел возможность лично убедиться. Мы сидели в партере, на отличных местах, все было замечательно видно и слышно. Это было мое первое знакомство с большим музыкальным произведением. Стихия музыки подхватила меня, и я с трудом вернулся на землю к концу спектакля. Мелодии еще долго звучали внутри меня, а мой рациональный ум мучился, заинтригованный заключительным сценическим эффектом. Действительно, это выглядело впечатляюще: дуэт Радамеса и Аиды, замурованных в пирамиде, умолкал, менялся свет, преобразующий пространство, и фигуры узников, стоявших в камере у самой рампы, отрезала от зрителей внезапно возникшая как бы из воздуха, из света четвертая глухая стена мрачной пирамиды.

Володина командировка закончилась быстро. Он уехал, и от него время от времени приходили солдатские треугольнички писем с адресом полевой почты и со штампом «проверено военной цензурой». Сегодня уже мало осталось тех, кто помнит такие треугольники. Это был лист писчей бумаги, зачастую тетрадочный лист, который исписывался с одной стороны и сворачивался особым образом в виде треугольника так, что на чистой стороне можно было написать адрес. Таким образом облегчалась работа цензоров и экономились конверты.

Володины письма приходили недолго. Наступили тяжелые дни глухого молчания. Затем пришло официальное извещение о том, что рядовой Бродский Владимир Яковлевич числится без вести пропавшим. Формула принесла боль, хотя и оставляла зыбкую надежду. Но время шло, война уходила все дальше на запад, а о рядовом Бродском все не было известий. Так и исчез из жизни мой старший брат.

В конце лета в Одессе появились новые родственники. Сперва вернулась из эвакуации сестра Натальи Максимовны Мария Максимовна Чаплик. Затем пришло письмо от ее сына Михаила Моисеевича Штейнфинкеля, племянника отца и Натальи Максимовны. В семье его звали Муц, он был адвокатом и провел войну в Ташкенте. Письмо из Ташкента читали вслух, и я был неприятно шокирован абзацем, где Муц спрашивал о ценах в Одессе и о том, что стоит привезти из Ташкента на продажу. Очевидно, у меня была какая-то генетическая неприязнь к коммерческим операциям, которые на языке тех лет именовались спекуляцией. Мой рано сформировавшийся кодекс джентльмена не включал оборотистость в число достоинств.

Довольно скоро Муц появился в Одессе и оказался лысоватым невысоким мужчиной лет сорока, весьма жизнерадостным и

тороватым. Ко мне он отнесся благосклонно, подарил тридцать рублей на кино и мороженое, что несколько сгладило неприятное впечатление от ташкентского письма.

Осенью меня определили в школу, сразу в четвертый класс. Я был неплохо подготовлен и нисколько не отставал от однокашников, хотя и был в классе самым младшим. В школу я ходил с зеленой солдатской сумкой от противогаза, заменявшей портфель. В сумке лежали учебники и остродефицитные тетрадки, которые приходилось экономить. Классная комната была в точности такой же, как и тот незабываемый класс, где мы с мамой провели ночь перед отправкой в румынскую тюрьму. Однако и здесь некий здоровенный бугай, переросток, которых в классе было немало, однажды обозвал меня жидом пархатым. Слово «пархатый» было мне в новинку и сильно удивило.

Не могу сказать, что о первом школьном годе у меня сохранились какие-либо еще яркие впечатления, кроме, пожалуй, уроков украинского языка. Язык мне нравился, он был мелодичный, звучный, и, очевидно, учили ему хорошо, потому что до сих пор я неплохо розмовляю украинскую мову и помню стихи Шевченко, например «Заповіт».

Тем временем война продолжалась, но теперь боевые действия для нас, одесситов, воплощались в сообщения Совинформбюро, приказы Верховного Главнокомандующего, артиллерийские залпы победных салютов. Лишь однажды война жестоко напомнила о себе. В ночь на шестнадцатое октября, в годовщину вступления немецких войск в Одессу, вражеские самолеты совершили налет на город.

По сигналу воздушной тревоги мы спустились в подвал, служивший бомбоубежищем. В подвале было абсолютно темно, люди спотыкались друг о друга и почему-то старались не шуметь, словно боясь быть услышанными немецкими летчиками.

Внезапно небо над городом ярко осветилось, стало светло как днем, и свет через крохотные подвальные окна проник в бомбоубежище, скупо освещая напряженные лица людей. Это над городом повисли осветительные ракеты, сброшенные на парашютах для прицельного бомбометания. Загрохотали зенитки, и, словно в ответ, где-то над нами раздался жуткий, пронзительный нарастающий вой. Это к земле стремительно летели бомбы, летели прямо на нас. Лихорадочно стучащее сердце отсчитывало последние секунды жизни. Я прижался к отцу и ждал. Вой стал невыносимым и вдруг резко оборвался. В следующее мгновение раздался взрыв. Здание качнуло, бомбы упали близко. За оконцами потемнело, наступила невероятная тишина, затем я услышал гул уходящих самолетов. Чей-то пробил

сегодня час, но мы остались живы. Наутро мы узнали, что разрушен дом неподалеку и погиб расчет морской зенитной батареи, располагавшейся в районе порта. Через день город с почестями хоронил моряков, погибших на боевом посту. На площади перед нашим домом был митинг, красные гробы на лафетах орудий были покрыты морскими флагами, на гробах лежали бескозырки, военный оркестр играл траурные мелодии, и женщины плакали.

Это испытанное мной в подвале чувство беззащитности, подчиненности слепой судьбе, ощущение надвигающейся смерти, если не своей, то соседа, я вспомнил уже взрослым, читая пронзительные строчки Семена Гудзенко:

Мне кажется, что я магнит,
Что я притягиваю мины.
Разрыв — и лейтенант хрипит.
И смерть опять проходит мимо.

Эта ночная бомбежка была для одесситов последним кровавым пароксизмом отступающей войны. Но оказалось, что и мирная жизнь может преподнести неприятные сюрпризы.

Однажды тусклым осенним днем, в предзимье, отец пришел с работы необычайно рано. Пришел он не один: его сопровождали двое незнакомых мужчин в одинаковых серых пальто и шляпах. Они прошли в кабинет, где провели немало времени, затем один из незнакомцев вышел из кабинета и стал ходить по квартире, заглядывая в шкафы и деловито выстукивая стены. Наталья Максимовна ходила с ним бледная, но спокойная. Обыск проходил формально, лениво, без понятых и закончился довольно быстро. Затем кабинет опечатали и отца увели.

Отец был арестован НКВД за сотрудничество с оккупантами. Всезнающим органам казалось подозрительнным его освобождение из румынской тюрьмы. «Почему же они вас все-таки не расстреляли?» — настойчиво допытывался следователь Шпак. Ссылка на заступничество православной церкви, естественно, в расчет не принималась. Кроме того, преступным с точки зрения органов было и то, что отец, свободно владея французским языком и легко освоив похожий на него румынский, для заработка переводил на русский язык новый уголовный кодекс Транснистрии. Но, конечно, главная вина отца, как и миллионов других людей, брошенных отступавшей армией на оккупированной территории, заключалась в самом факте временного проживания под властью оккупантов. Так же, как и плен, это было несмываемое клеймо, которое носил и я и о

котором полагалось указывать в анкетах не один десяток лет после войны.

— Вы слишком заметный человек в Одессе, — говорил следователь отцу, — вы не должны были оставаться в оккупации.

Я думаю, что НКВД очень старался, очищая Одессу от так называемых пособников оккупантов. Статистика мне неизвестна, но из сравнительно небольшого числа людей, окружавших меня, десятилетнего мальчика, кроме отца арестовали Наташу Кобозеву за преступную связь с Леней Порумбеску, румынским офицером. Эта юная любовь стоила двадцатилетней девушке десятилетнего заключения в лагере и исковерканной жизни.

Обо всем этом и о многом другом я узнал через много лет, когда снова увидел отца после его возвращения из ссылки. Рассказал он мне и о том, что однажды встретил своего следователя в Северном Казахстане, куда и тот попал не по своей воле.

После ареста отца жизнь снова круто изменилась. На руках у Натальи Максимовны осталась беспомощная старуха свекровь и совершенно чужой мальчик, неожиданно возникший сын мужа от другой и, наверное, ненавидимой женщины. Откуда взяла она силы нести свой крест! Слегка перефразированные строки Ахматовой «Сын в могиле, муж в тюрьме, помолитесь обо мне» были бы уместны. Впрочем, в те годы эти строки могли повторять многие.

Не могу сказать, что я привязался к ней за несколько месяцев совместной жизни. Она была слишком хорошо воспитана, чтобы проявлять свои чувства, и некоторая дистанция, установленная в первые минуты знакомства, всегда существовала между нами. Пожалуй, я воспринимал ее не как женщину, которая могла бы заменить мне мать, но скорее как гувернантку, воспитательницу, добросовестно, но без любви выполняющую свои обязанности. Вполне вероятно, что она заслуживала большего.

Теперь, впрочем, нас объединили заботы об отце. Свидания с ним не разрешались, но можно было носить передачи. Мы с Натальей Максимовной готовили пакеты и с упакованными согласно тюремным правилам сумками отправлялись к большому серому дому — следственной тюрьме, где содержался отец. Насколько я понимаю, собрать продуктовую передачу было непросто, ведь материальное положение семьи сильно ухудшилось. Хорошо помню, что в нашем меню престижное место занимали фальшивое жаркое, то есть тушеная картошка в соусе, отдаленно напоминающем мясную подливу, и картофельный салат — отварная картошка с луком, заправленная подсолнечным маслом и уксусом.

Между тем наступил день моего рождения, и к нам пришли гости. Это были вернувшиеся из эвакуации моя сверстница Лиля Гимельфарб с мамой. Семья Гимельфарб дружила с моей мамой, поэтому, естественно, предполагалось, что должны дружить и дети. Возможно даже, что в далеком будущем дети могли бы и пожениться, что вполне бы соответствовало некоторому духу патриархальности, еще существовавшему в те далекие годы. Сохранилась довоенная фотография, где дети в возрасте примерно двух лет, Лиля и я — некрасивая большеротая девочка и белокурый светлоглазый мальчик, словно херувимчик с рождественской открытки, — заинтересованно смотрят в объектив, вероятно пытаясь увидеть вылетающую оттуда птичку. Отец Лили, Яков Гимельфарб, был врач. В памяти сохранился высокий стройный человек с голым черепом в морской офицерской форме с серебряными погонами. А до войны он был, конечно, штатским, и я помню новогоднюю елку у них в доме на Садовой, в красивой комнате с поразившим меня эркером, где веселый доктор Гимельфарб выступал в роли Деда Мороза. Мадам Гимельфарб, урожденная Тригер, или, как называли ее московские одесситы, Тригерша, была весьма экспансивной провинциальной дамой, и много лет спустя, когда Театр Образцова, где служили мои приемные родители Пава и Галя Мелиссарато, приехал на гастроли в Одессу, прислала Паве за кулисы записку «Лиля хочет Павла Георгиевича», второпях и в ажиотаже пропустив слово «видеть». По окончании спектакля, когда Пава представлял зрителям актеров, вышедших на поклон, он увидел в зале немолодую даму, которая бежала по проходу к рампе, аплодировала и кричала ему:

— А Галя приехала?

И записка и дама послужили поводом для ядовитых шуточек в актерской компании. А между тем провинциальность Тригерши не заслонила героизма ее прихода в дом арестованного адвоката Бродского, чтобы сын ее погибшей подруги в свой день рождения не чувствовал себя одиноким. Ведь в те годы семьям репрессированных не надо было надевать желтые одежды с колокольчиками: к ним и так боялись приближаться, как к прокаженным.

Конечно, тогда, в феврале 1945 года, я об этом не думал, а просто был рад маленькому празднику, где я был центральной фигурой, как в давние довоенные времена, и вкусной еде: домашним пирожкам и так называемым хрустикам — посыпанному сахарной пудрой печенью из тонко раскатанного теста.

Проходили месяцы, следствие шло своим чередом, и

поскольку всем было известно, что органы не ошибаются, надо было готовиться к худшему. Однажды в начале весны пришло письмо из Москвы. Друзья моей матери Галина Нестеровна и Павел Георгиевич Мелиссарато узнали о несчастье, постигшем нашу семью, и предложили Наталье Максимовне взять меня к себе в Москву, по крайней мере на время, пока судьба отца не определится. Предложение было принято, и мы стали готовиться к поездке.

Первого мая 1945 года вечером Наталья Максимовна и я погрузились в плацкартный вагон поезда Одесса — Москва. Сгущались сумерки, на скудно освещенном перроне замирала предотъездная суматоха. Наконец раздался паровозный гудок, длинное суставчатое тело поезда дрогнуло, и перрон начал медленно отступать назад. Город моего детства уходил в прошлое, в жизни наступал очередной перелом.